

ЖАН РИШАР
БЛОК

Избранное

Жан-Ришар Блок

... И КОМПАНИЯ

1918

Блок Ж.

... и компания / Ж. Блок — 1918

В романе «...и компания» Жан-Ришар Блок прослеживает историю еврейской семьи фабрикантов Зимлеров на протяжении восемнадцати лет. После поражения во франко-прусской войне Зимлеры, уроженцы Эльзаса, не пожелали оставаться под немцами и приобрели новую фабрику в городе Вандевре, одном из центров текстильной промышленности на западе Франции. В основе романа – история семьи Эрзогов, родственников жены Блока Маргерит. Картина получилась правдивая. Роман Блока – одно из первых значительных произведений о буржуазной семье, созданных в XX веке.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
I	5
II	8
III	14
IV	19
V	23
VI	28
VII	32
VIII	39
IX	41
X	48
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Жан-Ришар Блок

«...и компания»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (1871)

I

Трое мужчин вышли из заброшенного строения и еще раз осмотрели его со всех сторон. Толстяк в котелке, с позвякивавшими на брюшке брелоками остановился возле каменной стены. Его палец с траурным ободком под ногтем последовательно указал четыре узловых точки, приобщающие фабрику к деловой жизни края: десять минут до пристани, двенадцать до железной дороги, семь до почты, четверть часа до Торговой палаты.

Пока он набрасывал эту схему, как набрасывает метеоролог «розу ветров»,¹ слушатели его тревожно переглядывались. Их внимание привлекли разбегавшиеся по стене трещины, откуда вывалился цемент.

На одном из приезжих были светлые панталоны, взбившиеся гармошкой над штиблетами. Двухдневная пыль, как гетрами, одела его ноги до самых колен. Серый фуляр заменял воротничок. Угольная пыль – след ночи, проведенной в вагоне, – лежала темными пятнами на его веках, подчеркивала линии морщин. Он был невысокого роста, худощавый, руки его нервно двигались.

Его спутник, тоже невысокий, но плотный мужчина, смотрел на него поверх очков невидящим взглядом. По непрерывному движению его губ видно было, что он с лихорадочной быстротой производит в уме какие-то подсчеты. Он то отковыривал от стены кусочки желтовато-зеленого мха, то снимал свою дешевенькую соломенную шляпу и вытирал мокрый лоб.

Предводительствуемые маклером, они закончили осмотр помещения и подошли к заржавленным железным воротам. Палящий зной предгрозового летнего утра накалил шоссе, посыпанное шлаком, и жег ноги сквозь тонкие подметки.

Низенький, вздернув подбородок, указал на дальний конец улицы. От нависшего свинцового неба, от тяжелых испарений земли утренний свет казался тусклым. Яркая белизна фасадов слепила глаза. Сутки, проведенные в вагоне, полгода бессонных ночей и бесконечных расчетов давали себя знать в это утро ноющей болью в висках и резью воспаленных век.

– А что здесь поблизости?

Маклер поспешил заверить, что соседство самое почтенное. Направо, в пяти шагах отсюда, – Морэндэ и К^о, известнейшая бельевая фабрика. А вон там, за длинной кирпичной стеной, над которой подымаются пропыленные кусты, ткацкая фабрика Лорилье-Помье и К^о. Налево, чуть подальше, белая каменная арка возвещала о миллионах господина Сабурэ-младшего, владельца прядильной фабрики. Дымившая труба, венчая гребни крыш, отмечала местонахождение фабрики Шевалье-Лефомбер.

Имена эти падали с губ маклера, звеня, как золотые монеты. Горячий западный ветер заволакивал небо облаками дыма. Маклер показал пальцем, на котором сверкнул фальшивый бриллиант, на плотную завесу фабричного дыма:

¹ Векторная диаграмма, характеризующая режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям.

– Здесь вы будете, что называется, в сердце делового мира. Чтобы зарабатывать деньги, надо селиться там, где их делают!

Внешний вид комиссионера не подтверждал правильности подобного афоризма, но он, очевидно, не понимал этого, хотя не мог не заметить, каким красноречивым взглядом приезжий толстяк скользнул по его вытертым на коленях шевиотовым брюкам. Он повернулся к воротам и распахнул их. Пронзительно завизжали петли.

– Я еще не показал вам помещение для привратника.

Маклер толкнул деревянную дверь и ввел своих спутников в двухэтажный низенький домик. Пол был крыт четырехугольными плитками. В открытые на дорогу окна врывались пыль и полуденный зной; пыль и полуденный зной проникали и в окна, выходявшие на усыпанный рыжеватым шлаком двор.

Приоткрыв темный люк, из которого пахло сыростью, маклер торжественно провозгласил:

– Погреб!

Винтовая лестница вела на второй этаж. От зимних холодов и летнего зноя его защищал только чердачок, куда попадали по приставной лестнице. Рваные обои, разошедшиеся панели, разбитые стекла в окнах, гнездо летучих мышей в углу спальни, следы голубинового помета во всех комнатах – вот, пожалуй, и все внутреннее убранство домика.

– Две спальни и чулан на втором этаже; чулан, столовая и кухня на первом; вода, газ. Даже слишком просторно для бездетного привратника.

Какой-то неуловимый огонек промелькнул во встретившихся взорах незнакомцев; с минуту они стояли молча, пристально глядя друг другу в глаза. Вместо бездетного привратника этому домишке предстояло дать приют отцу с матерью, сыну с женой и двумя детьми, а также второму сыну, пока еще холостяку.

Маклер повернулся к клиентам, всем своим видом говоря, что осмотр окончен.

– Вы правы, – кисло проговорил тот, что был похудев. Оба отвели глаза, и только в углах губ бродила теперь непонятно мягкая улыбка.

Приезжие вышли на улицу, окутанную горячей утренней дымкой, и молча, ссутулясь, зашагали вперед.

Город, как щитом, прикрыло завесой гари. Среди оглушительного грохота улицы казались каналами тишины. Временами грохот ткацких станков придавал четкий ритм этому звуковому сумбуру, но уже через пять шагов он растворялся в урчании сукновален. Артиллерийские залпы прядилен шутя сотрясали пятиэтажное здание. Горячая вода, пройдя по канализационным трубам и раскалив плиты тротуара, вливалась в канавы мыльными струями, в которых толпа оборванных женщин стирала свое жалкое тряпье.

Господский дом, окруженный службами и покрытый чешуей балконов, залегал в стремительном потоке звуков неожиданной зоной тишины. Тому, кто стоит у руля, пристала тишина.

Проходя мимо чугунной решетки, незнакомцы залюбовались подстриженным газоном лужайки, мягко круглившейся перед крыльцом. Огромные стекла зимнего сада покрывали пальмовые листья поистине аристократическим глянцем. Занавески прямыми складками свисали до полу, а там, за ними, в глубине гостиной, угадывались хрустальные подвески люстры и вскинута рука бронзового Давида.

В конце аллеи, по гравию которой недавно прошелся скребок садовника, у открытых ворот каретного сарая, конюх, засучив рукава, отмывал безукоризненный лак экипажа, не нуждавшегося в мойке. Угол барского дома скрывал от прохожих начало липовой аллеи. Привратник в ярко-синей ливрее вышел из своей каморки; окинув взглядом двух незнакомцев и на ходу определив ценность их головных уборов и запыленных ботинок, он равнодушно отвел глаза.

Через полсотни шагов их снова закружила вереница грохочущих фабрик. Болели натруженные ноги, тоскливо сжималось сердце, а конца пути все не предвиделось.

Маклер из деликатности шествовал впереди, то и дело раскланиваясь со знакомыми. Иногда он оборачивался и двумя короткими фразами как бы приклеивал к воротам фабрики вывеску с обозначением имени ее владельца. Сопровождаемые головокругительной цифрой доходов, эти прославленные имена сочлились золотым жирком миллионов.

А двое приезжих шагали локоть к локтю. Так они и шли, потупив глаза, не обменявшись ни словом, ибо на карту был поставлен хлеб их насущный, дело их рук и неутолимая жажда успеха.

Наконец тот, что был потолще, произнес:

– Ей-богу, здесь шагаешь прямо-таки по золоту.

Его спутник буркнул что-то в ответ, не повысив голоса, не подняв головы.

Они поравнялись с каким-то особняком. Услышав от маклера имя владельца, оба остановились как по команде.

– Пятьдесят лет назад он приехал из Битца, как мы собираемся приехать из Бушендорфа. А ну-ка, посмотри, Жозеф, где живет его вдова.

Худощавый откусывал концы слов, словно собака, глотающая на лету куски мяса.

– А интересно, Термина через пятьдесят лет будет жить в таком доме?

Его спутник, тот, что был потолще, откинул голову и взглянул на говорившего поверх очков. Он не улыбался: не время было улыбаться.

– Через пятьдесят лет, Гийом?

Он перевел глаза на особняк с восемью окнами по фасаду, центральную часть которого венчала высокая шиферная четырехскатная крыша.

Маклер тотчас же предупредительно приблизился к клиентам. Он позволит себе обратить внимание милостивых государей на то обстоятельство, что все окрестные трубы дымят ради благополучия вдовы, вернее – ее династии.

Тот, что был в очках, снова повернулся к худому и положил ему на плечо руку.

– Пора и нам решаться.

Они пустились в путь, но на сей раз оба шли упругим, легким шагом, как волк, преследующий добычу, хотя по внешнему виду трудно было даже ждать от них такой прыти. В хитросплетении тропок, по которым они блуждали с самого утра и каждая из которых привела других к успеху, они учуяли наконец какую-то закономерность. Там, где стояли они сейчас, как раз и начиналась одна из таких тропинок.

– Чего добился Шерман, того могут добиться два Зимлера, – пробормотал толстяк. И они свернули с чужого следа, дабы проложить свой собственный.

II

Обитая кожей дверь глухо захлопнулась, пропустив их в длинное узкое помещение, напоминавшее туннель. Для начала собственная тропа привела их сюда, в эту комнату, пропитанную приторным запахом; кроме них двоих и маклера, здесь не было никого, если не считать хилого конторщика, которого они успели заметить через стеклянную дверь прихожей.

Входная дверь была двойная, заглушавшая звуки, в обоих окнах – матовые стекла и сверху того солидные решетки. Такое обилие решеток и обивок заставляло предполагать именно то, что, по мысли маклера, должны были предполагать его клиенты.

Теперь, когда вокруг них троих не было больше ничего, кроме этих окон, решеток, этой двери, зеленых папок, не было ничего, кроме того, о чем они думали, а вслух не говорили, незнакомцы снова переглянулись. Взгляд взметнулся, будто канат, который матросы перебрашивают с борта одного корабля на другой. Потом оба облизали пересохшие губы и стали молча ждать, чтобы маклер соизволил заговорить первым.

Но маклер повернулся к клиентам спиной. Он доставал с полки какие-то папки. Тяжело дыша, он вытащил восковку, свернутую трубочкой, и разостлал ее на столе с покорным видом чиновника, привыкшего ежедневно обслуживать посетителей. С точно такой же равнодушной миной он мог бы предложить вам чай, галстуки по двадцать девять су за штуку или механическую пианолу. То, что он делал, он делал по привычке. А стоявшие перед ним два незнакомца готовились рискнуть всей своей жизнью.

От усердия крахмальный воротничок маклера разошелся, открыв присутствующим синеватый кадык, который судорожно подрагивал после недавней борьбы с папкой, как пробочный поплавок от прикосновения к крючку рыбьей пасти. Жозеф не мог сдержать улыбки.

– Мне кажется, что для пользы дела нам следует действовать методически и от общего перечня перейти к деталям. Помещение, которое вы только что осмотрели... – начал маклер бесцветным голосом. Худощавый быстро вытянул руку движением крупье: казалось, пройдет по столу невидимая лопаточка и не оставит после себя ничего.

– А зачем нам нужны все эти штуки?

– Подожди, Гийом, это же планы!

Жозеф бросился к чертежам, тяжело оперся ладонью о край стола. От резкого движения очки упали с носа и легли на бумагу дужками вверх.

– Сударь!

Маклер густо побагровел. Планы были делом и гордостью всей его жизни. Эта бесценная калька как-то облагораживала его профессию. На визитных карточках он даже приказал отпечатать: «Инженер-эксперт».

– Что ты будешь делать с этими бумагами, Жозеф? Разве ты не знаешь эту фабрику так же хорошо, как будто ты ее сам строил?

– В спорных случаях относительно строений, господа, или относительно территории планы всегда могут внести ясность...

Жозеф надел очки, вытащил из кармана складной дециметр и обратился к брату, невежливо прервав маклера:

– Позволь, я сам займусь этим, Гийом. Поговори лучше с господином маклером. А я вас услышу.

Он нагнулся над чертежами. Гийом нервически дернул плечом и покачал головой. Первую фразу он произнес, не глядя на маклера и заикаясь, так как еще не овладел собой:

– А лучшего вы нам ничего не могли показать?

– Я показал вам все, что свободно сейчас в Вандевре...

– Ха! В прекрасном же оно у вас состоянии!

Вместо ответа маклер воздел к небесам руки, призывая всевышнего в свидетели своей правоты.

– Если желаете, я могу вам предложить планы фабрики Лепленье, – помните, такая маленькая в тупичке?

Не подымая глаз от чертежей, Жозеф поиграл пальцами, и этот неопределенный жест отбросил предложение маклера вместе со многими другими обратно в зеленые папки. Маклер покорно наклонил голову; наконец пришел его час: он терпеливо ждал неизбежного вопроса, который сразу вернет разговор на привычную почву. Да и оба его противника не были расположены мешкать.

– Цена? – рявкнул Гийом.

– Цена? Бог мой, я должен сначала снестись с владельцем.

– Снестись! Хорошенькое дело! Вам поручено показывать помещения, а вы не знаете цены!

– Позвольте, господа, я этого не говорил. Но было бы заблуждением думать, что такие дела легко делаются.

– Легко, господин Габар! – отрезал Жозеф, глядя на маклера поверх очков.

Господин Габар кисло улыбнулся.

– Вы правы. Мы, люди деловые, только того и хотим. В чем наш интерес? В том...

– Простите, – перебил его Жозеф Зимлер сладчайшим голосом. – Наш интерес... наш интерес в том, чтобы поскорее все закончить. Итак, господин Габар, не будете ли вы добры...

Габар понимающе вздохнул:

– Конечно, конечно. Ближе к делу. Фабрика, которую вы только что осматривали, принадлежала деду теперешних владельцев. Он сам руководил ею, но, думаю, это не так уж важно. Маклер грациозно порылся в папках.

– Итак... итак... я начну с тысяча восемьсот тридцать шестого года.

– С тысяча восемьсот тридцать шестого?

Жозеф не успел предупредить неуместной реплики брата. А маклер, видно, только и ждал ее, чтобы начать обстоятельный рассказ.

– Да, с тысяча восемьсот тридцать шестого... Фактически же фабрика начала работать в тысяча восемьсот тридцать седьмом году и была основана господином Понсэ, прапрадедом теперешних владельцев, во время континентальной блокады. Дела шли хорошо, – это место счастливое, господа, всем приносит удачу. Но после его смерти, которая наступила в скором времени...

Жозеф выпрямился и выронил из рук складной дециметр:

– Мой брат, сударь, задал вам вопрос. Слава богу, мы уже не дети. Не знаю, во что вы расцениваете свое время, но мы ценим наше слишком дорого, чтобы слушать все эти истории. Какую цену, господин Габар, хочет получить владелец за сдачу в аренду фабрики, которую мы осматривали?

– Эх, господа, да владелец-то где? Кто может назначить цену? Прошу вас, господа, не горячитесь; раз вы не новички в делах, вы, конечно, слышали о так называемой опеке над малолетними, о передаче права продажи, о... Поверьте, господа, мне очень хотелось бы вам ответить: цепа такая-то! Но, увы, увы!

Воспользовавшись минутным замешательством в рядах противника, маклер продолжил свой рассказ вялым и кротким голоском:

– В тысяча восемьсот тридцать шестом году умер господин Фредерик Понсэ, сын... впрочем, это не важно; после него осталось два совершеннолетних сына, которые, поделив между собой недвижимое имущество, объединили капиталы для совместного ведения дел. Я имею в виду господ Фирмена и Алексиса Понсэ. Одиннадцатого сентября тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года Алексис Понсэ скончался, оставив трех несовершеннолетних детей: двух

дочерей и сына, малолетнего Норбера-Элесбана, тогда еще семилетнего мальчика, и выразил на смертном одре пожелание, чтобы тот со временем стал компаньоном своего дяди – господина Фирмена. Вы следите за ходом рассказа? Но юный Норбер-Элесбан, не достигши совершеннолетия, тоже скончался в результате прискорбного происшествия во время поездки по реке, стоившего жизни не только ему, но и его матери; после этого господин Фирмен был назначен опекуном над двумя девочками, оставшимися в живых. Шесть лет спустя господин Фирмен, который был значительно моложе покойного своего брата Алексиса и в брак не вступал, влюбился в мадемуазель, мадемуазель... – дай бог памяти! – в мадемуазель Элизабет-Атенаис-Жюльетту и женился на ней семнадцатого марта тысяча восемьсот шестьдесят девятого года, будучи сорока шести лет от роду; невесте же исполнилось семнадцать. Судьбе было угодно, дабы господин Фирмен Понсэ покинул родной очаг и сложил с себя управление фабрикой, чтобы исполнить свой гражданский долг: он был назначен капитаном гвардии в нашем департаменте и убит в последних числах того же года в битве под Орлеаном, оставив после себя неутешную вдову на втором месяце беременности. Вы следите за мной? Впрочем, это проще простого. Был назначен попечитель, как того требует закон, каковым и явился председатель суда. Но за год до того мадемуазель Маргарита-Антонина-Фелиция-Одетта-Анна-Мария Понсэ, старшая сестра бывшей мадемуазель Элизабет-Атенаис-Жюльетты, в замужестве госпожи Понсэ, сочеталась браком с господином Таффоно де Лорие; она преставилась седьмого апреля того же года, произведя на свет малютку Урбен-Фелнкс-Алексиса Таффоно де Лорие. Должен добавить, – заметил маклер глухим голосом, – после брака младшей сестры со своим дядюшкой отношения между барышнями Понсэ испортились, что сделало невозможным всякую попытку примирения между нею и ее зятем и привело к необходимости судебного решения в столь запутанном деле о наследстве. По мере рассказа маклера лица обоих Зимлеров все больше мрачнели, и под конец они уже не скрывали злобы.

– Но в конце концов, сударь, должен же существовать законный опекун, хоть какое-нибудь там должностное лицо, которому поручено это дело о наследстве?

– Да, господа, таковой имеется.

– Ага!

– Вернее сказать, имелся.

– Как? Что же, он тоже умер?

– Сохрани боже, но он оказался неспособным к коммерческим операциям и...

– Что – «и»?

– Сложил с себя полномочия вот уже неделю тому назад.

Тут только Зимлеры раскусили своего собеседника, тут только поняли они Запад с его хитростями и издевками, скрытыми за небрежно-добродушным тоном. Они снова переглянулись, и Жозеф побагровел. Когда он заговорил, в голосе его звучало совершенное спокойствие. На свою беду, маклер не заметил всех этих грозных признаков.

– Господин Габар, вы просто-таки издеваетесь над нами. Я, конечно, на вас не в претензии. Это ведь ваш хлеб. Но нам тоже нужно заработать свой кусок хлеба, и мы вам сообщили наши условия. Если вы не дадите нам точного ответа о цене, пока мы дойдем до двери... что ж, мы еще поспеем на дневной поезд. Разрешите, сударь, пожелать вам всего хорошего.

Он сделал в направлении входной двери три шага, Гийом – два.

– Постойте, господа, назовите вашу цену.

Братья остановились. Жозеф вернулся, положил па край стола соломенную шляпу и взял забытый на бумагах складной дециметр.

– Десять тысяч, господин Габар, – сказал он, но его вдруг осипший голос предательски дрогнул.

При этих словах брови честного маклера поползли вверх от неподдельного удивления. Он посмотрел сначала на одного Зимлера, потом на другого, опустил глаза на связку брелоков,

болтавшихся на цепочке, шедшей поперек его живота, снова вскинул глаза на клиентов, и отечески-снисходительная улыбка тронула его выпяченные губы:

– Десять тысяч франков? Но ведь фабрика не сдается, а продается.

– Продается?

Нельзя было обмануться в тех чувствах, которые выразил крик, вырвавшийся из груди братьев Зимлер. Впервые за все это утро маклер понял, что сейчас шла совсем иная игра, не похожая на обычные официальные переговоры.

Обогнув стол, Жозеф вплотную подошел к Габару. В двадцати сантиметрах от себя маклер увидел блеск очков и почувствовал на своей щеке горячее дыхание.

– Полагаю, что нам лучше с этим покончить... Мы не привыкли... Все утро нас зря таскали. Вы же знаете, что нам требуется. Так что о недоразумении и речи быть не может. Вы просто лжете.

– Господа!

Маклер поспешно отступил, но путь ему преградило кресло.

– Никаких господ!

– Клянусь вам, я получил официальный приказ продать фабрику. Желаете посмотреть бумаги?

– От кого приказ? Ведь никто не уполномочен проводить ликвидацию.

– Но пока не подыскали нового опекуна, прежний еще занимается дел... ах!

Жозеф опустил на плечи маклера свои тяжелые лапищи.

– Посмотрите-ка на нас хорошенько, господин Габар. Мы вовсе не той породы, как вы, может быть, думаете. Вы, должно быть, ошиблись. Ваше ремесло – обманывать. Наше – производить, потому что это наша жизнь; и сейчас *paif* нужна фабрика. Я вам и минуты не дам на размышление. Десять тысяч франков и договор на пятнадцать лет. Слышите?

– Сударь, – жалобно простонал Габар, тщетно пытаясь обернуться к Гийому и протягивая руку к столу, – сударь, взгляните на эти бумаги, я лишь посредник, я должен про... продать.

Жозеф, сжав плечи маклера, с силой тряхнул его.

– Тогда почему же вы разыгрывали комедию? Почему вдруг он увидел перед самыми своими очками синий кадык, который подрагивал, как пробочный поплавок.

– Ни с места! Советую вам не шевелиться, – проворчал Жозеф, сопровождая свои слова выразительным жестом.

Маклер схватился обеими руками за воротничок и начал жалостно стонать.

Оба клиента тем временем с лихорадочной поспешностью рылись в бумагах.

– Акт о вступлении в брак... акт о погребении... Акт... еще акт... еще один акт... протокол аукциона... акт... письмо от седьмого января тысяча восемьсот шестьдесят первого года... еще письмо... акт... доверенность – все. Если этого документа здесь нет, милостивый государь... если его нет...

– Письмо от двадцатого марта нынешнего года, еще письмо попечителя на бланке гражданского суда, оно должно быть здесь, ох!

– Очень хотел бы, чтобы оно было здесь, для вашего же блага, – холодно отчеканил Жозеф.

Вдруг Гийом вскрикнул: «Вот оно!» И братья быстро нагнулись над бумагами, чуть не стукнувшись лбами. Жозеф мощной рукой удерживал в кресле маклера.

Братья молча прочли письмо, перечитали его еще раз, и бумага задрожала в пальцах Гийома. Когда Гийом отложил наконец документ, оба эльзасца разом выпрямились и встали по обе стороны стола. Лица у них пылали, и оба хранили глубокое молчание, избегая глядеть друг на друга.

– Вы видели?

– Да!

Сомнений не оставалось. Письмо было составлено по всей форме и предписывало на основании закона продажу фабрики.

– Есть у вас гражданский кодекс? – спросил Жозеф. – Есть? Прекрасно! Не двигайтесь с места!

Маклер трясущейся рукой указал на книжный шкаф. Жозеф вытащил оттуда том, перелистал его. Гийом молча покусывал кончик уса. Жозеф захлопнул книгу и швырнул на стол.

– Прекрасно!

Жозеф посмотрел на Гийома, который жадно ждал его взгляда. Он, должно быть, прочел в глазах брата все, что хотел и боялся увидеть, – у него сразу перехватило дыхание, и он, как минуту тому назад маклер, судорожно схватился за воротничок.

Усталые лица приезжих, пыль, осевшая на их ботинках, красноречиво свидетельствовали об утомительно долгом путешествии, о погоне за вожаками, но – увы! – несбывавшимися мечтами. Они, должно быть, в последние недели немало поколесили по Франции и держались сейчас только последним усилием воли. Но что погнало их, как затравленных волков, из Эльзаса – этого маклер не знал, и в этом была его вторая ошибка.

– Прекрасно, – снова проворчал Жозеф и как-то растерянно взглянул на брата.

Тот поднес руку к груди, к тому месту, где помещается внутренний карман, и медленно начал:

– Наш отец, господин Зимлер – Ипполит Зимлер, владелец суконной фабрики в Бушендорфе, Верхний <...> доверенность...

Перед ним встали строчки этой доверенности, и голос его дрогнул:

– «Настоящим доверяю моим сыновьям, Гийому и Жозефу Зимлерам, совершеннолетним, заключать и подписывать от моего имени все акты, контракты, договоры и прочие документы касательно найма в аренду фабрики». Снять – не значит купить. «...Заверено в мэрии Бушендорфа 7 июня 1871 года... действовать от моего имени».

– Вы бесчестный человек, господин Габар, вы таскали нас по этой фабрике, хотя отлично знали, что она продается, а не сдается. Цена? Какую цену просят?

Взгляд Жозефа беспокойно перебежал с лица маклера на лицо брата. Габар нагнулся над столом, боязливо следя за движениями Зимлеров, и в свою очередь начал рыться в разбросанных бумагах.

– Не угодно ли посмотреть письмо попечителя? Вот оно – триста пятьдесят тысяч...

Он не договорил. Жозеф огульно расхохотался.

– Триста пятьдесят тысяч! – с издевкой в голосе проговорил он. Мысли его путались.

– Но, господа, я простой комиссионер, так сказать – обыкновенный посредник...

– Да замолчите вы! Триста пятьдесят тысяч? Вы, очевидно, смеетесь над нами. Ха-ха-ха! Ведь домишко того гляди рухнет. Ему красная цена десять тысяч франков аренды, двести покупная.

– Не угодно ли взглянуть па письмо? Я ведь простой комиссионер.

– Молчите! Кто вам позволил издеваться над людьми? Сразу же заламываете двойную цену: а вдруг выйдет!

Тут вмешался Гийом:

– Вы-то имеете, по крайней мере, полномочия вести переговоры?

– Брось, – грубо прервал его Жозеф. – Где кодекс? Н-да... Страница... страница... Ликвидация по суду? Верно? Значит, должна быть публичная продажа с торгов. Верно? Должна быть публичная продажа с торгов или нет, я вас спрашиваю? Отвечайте.

Комиссионер поднял на него белесые глаза:

– Да.

– Черт подери! Передайте-ка мне эту папку. Чудесно! Вот он, акт о публичной продаже. А я об этом и не подумал. Взгляни-ка, Гийом.

Гийом ничего не понимал. Жозеф со свирепым видом перелистывал гербовые бумаги, подшитые в папку с наклеенным на переплете планом Лиона и с розовыми ленточками.

– Черт! Черт побери! Решение было вынесено... Ага! Гражданский суд первой инстанции. Чуть было не свалили дурака! Акт о публичной продаже. Погляди, погляди: «Было зажжено положенное количество свечей, и за время их горения никакой надбавки предложено не было...» Так я и думал! Но цена... цена... какая же цепа? Скажи-ка, Гийом, может быть, ты знаешь, по какой цене могла идти эта развалина? Я сам над этим голову ломаю!.. Двести семьдесят пять тысяч, дружок, и ни сантимата больше, да только за эту цену ее никто не захотел взять! Мы даем двести тысяч, дорогой мой Габар, включая накладные расходы.

– Невозм...

– Двести тысяч.

– Но, господа...

– Никаких «но». Двести тысяч – и точка. У вас есть доверенность, у нас тоже. Подойдите-ка сюда и распишитесь.

Маклер из глубины кресла воздел к небесам руки:

– Не могу!

– Ну хватит! Вы уже солгали три раза. Не лгите еще в четвертый.

– Акт, подписанный под угрозой...

– А разве я вас вынуждаю? – ехидно спросил Жозеф; он отступил на два шага и с самым простодушным видом воздел руками. – Скажите, пожалуйста, а сколько получает комиссионер?

Габар побледнел.

– Я не понимаю...

– Ложь номер четыре. Сколько вы получаете, господин Габар?

– Вы сами отлично знаете.

– Скажите же!

– Два процента.

– Чудесно! – Жозеф потер руки и рассмеялся таким странным смехом, что брат тревожно оглянулся на него. – Но, мне кажется, я заметил...

Габар машинально прикрыл бумаги рукой.

– Ага! Мы поняли друг друга, господин Габар. Там одно маленькое письмецо. Вы, конечно, позабыли, что оно здесь.

– Это неправда!

Голос Жозефа вдруг окреп:

– Письмо попечителя, просто ответ, там идет речь... о чем это, бишь? Да, о некоем незначительном увеличении установленного куртажа. И забыть такую важную вещь... Неосторожно, особенно при больном сердце.

Маклер готов был уже пойти на уступки. Жозеф подошел к нему ближе. Гийом, который начал понимать намерения брата, тоже приблизился к Габару.

– Повторяю, двести тысяч и больше ни франка.

– Двести тысяч с возмещением накладных расходов, – ответил комиссионер беззвучным голосом.

– Ни франка больше.

Габар, все еще не выпускавший из рук пухлых папок, отрицательно покачал головой, не глядя на клиентов:

– Не могу, господин Зимлер. Двести десять тысяч – мое последнее слово.

Жозеф взглянул на замученного комиссионера и понял, что на сей раз тот сказал правду.

– Подпишите, – просто произнес он.

III

Когда братья вышли от маклера, солнце стояло уже в зените и тени сжались в маленькие темные лужицы. Гийом застегнул пиджак до самого верха и шагнул, опустив руки. Толстяк Жозеф побагровел.

Он помедлил немного на крыльце дома, где только что ставилось на карту их будущее. Пальцем оттянул воротничок от потной шеи. Задняя пуговка с треском отлетела. Жозеф выругался, потом поднял глаза, в которых плясали кровавые искры, к свинцово-серому небу.

– Хотел бы я знать, как это только солнце ухитряется торчать на таком небе, а, Гийом?

И он неестественно громко захохотал.

– Ну, ну, Гийом, чего ты в самом деле? Ведь это небо с нынешнего дня наше, пусть оно будет хоть совсем черное.

Он хлопнул Гийома по плечу. Но перестал смеяться, когда брат повернулся к нему.

– Ради всего святого, Жозеф, не смейся так.

И Гийом плотно прижал обе руки к своей тощей груди.

– Я все думаю, что скажет отец, и вообще... Что из этого всего выйдет? Идем.

Он двинулся вперед. В эту минуту за матовым стеклом конторы возникло какое-то мутно-бледное пятно: видимо, маклер все еще никак не мог отдышаться.

Жозеф догнал брата.

– Куда тебя черт несет? Купчая-то хоть при тебе?

Гийом остановился, дрожащими пальцами расстегнул пиджак и вытащил из внутреннего кармана гербовую бумагу. Скосив правый глаз, он внимательно прочитал ее с первой до последней строчки и взглянул на Жозефа. Тот отечески ласково улыбнулся и положил руку ему на плечо.

– Смотри не потеряй. Да не расстраивайся ты так. Не стоит! Вспомни: у тебя Гермина, у тебя дети. И потом, поверь мне, там, где есть хоть тук шерсти и хотя бы один ткацкий станок, Зимлеры не умрут с голоду. Но какая невыносимая жарница! Когда поезд?

– В шесть тридцать, если не ошибаюсь.

– А сейчас двенадцать. Что, если пойти куда-нибудь в тень?

Гийом медленно повернул к нему свои желтоватые зрачки, где горел неугасимый пламень страсти. Жозеф метнул на него встревоженный взгляд и что-то сказал еще. Затем оба молча двинулись в путь упругим волчьим шагом – туда, где через какие-нибудь полгода каждый камешек – они знали это – будет изучен ими до мелочей, станет своим.

«О чем я буду думать, когда через полгода пойду вдоль вот этой стены?» – размышлял Гийом, перепрыгивая через разошедшиеся плиты панели.

«Что мы будем делать через полгода, когда будем огибать этот перекресток?» – думал Жозеф, перешагивая через ручеек раскаленной жижи.

Улицы в этот час были пустыни. Фабрики молчали. Только изредка подвода, груженная углем, подпрыгивая на выбоинах, проезжала по мостовой.

Братья прошли мимо трактирчика, их обдало чадом жареной картошки и гулом голосов. Они сделали несколько шагов, и снова все стало тихо. В воздухе плавал какой-то тяжелый запах, он оседал на губах и вызывал слюну.

Они шли все вперед, бросая по сторонам свирепые взгляды. Сколько раз им придется следовать этим фарватером! Три трубы фабрики Шевалье-Лэфомбер служили им маяком в этом необычайном плаваньи без кормчего.

Привратник особняка, где проживала вдова, полвека тому назад покинувшая Битш, кончал свой завтрак. Поцеживая вино, он глубокомысленно созерцал дорогу сквозь разноцветные стекла своей каморки. Взгляд его упал на двух путников, покрытых с головы до ног дорож-

ной пылью, которые, остановившись возле решетки, с минуту мрачно смотрели на нее, а затем пошли прочь. Привратник так и не узнал никогда, что он видел братьев Зимлеров в тот знаменательный день, когда они ступили на первую ступеньку лестницы, с которой начался их великий подъем.

На углу улицы Жозеф остановился. Он указал брату на большое строение:

– Это, должно быть, и есть Коммерческий клуб. Прекрасный особняк: огромные окна, сад и решетка. Здесь собираются местные богачи, понимаешь? Через полгода швейцар будет низко кланяться господину Зимлеру-старшему, когда он придет в воскресенье вечером в клуб прочесть на досуге номер «Тан». Это тебе не Бушендорф, а?

Под густыми усами Гийома промелькнула вялая улыбка. А Жозеф распался все больше.

– Состояние членов клуба исчисляется в сто одиннадцать миллионов. Помнишь, как сказано в справочнике? А их всего шестьдесят пять человек. «Чтобы зарабатывать деньги, надо селиться там, где их делают». Вот мы и поселились. «Зимлер и сыновья» – вполне подходит для фирменной вывески. Предположим, что в здешнем Коммерческом клубе будет шестьдесят семь членов, – не думаю, чтобы два новичка многое прибавили к таким капиталам.

Гийом плотнее прижал руки к груди, к тому месту, где лежала купчая, написанная на гербовой бумаге. Он пытался произвести подсчет:

– Сто одиннадцать миллионов верного капитала против семидесяти пяти тысяч... долгу. И это еще только начало, а что будет потом?

– Ты не учишь двух братьев Зимлеров – толстого и худого – и их неистовой жадности к жизни в придачу.

Окинув здание клуба повеселевшим взглядом, они двинулись в путь и вдруг за первым же углом наткнулись на *свою* фабрику.

Братья не ожидали, что до нее так близко. У них даже дух захватило.

Они только что миновали около десятка огромных фабрик, чья жизнь замерла под полуденным зноем, как свертывается в стакане молоко. Но даже на улицу сквозь ограду или ворота просачивалось ничем не тревожимое изобилие.

Подводы с шерстью стояли у весов, отполированных бесчисленными тюками груза. У самых дверей фабрик в трехколесных тачках мирно лежали огромные корзины, наполненные мотками белой пряжи. Приводные ремни мягко провисали в воздухе, – бегущая этими узкими тропками энергия сейчас бездействовала. Между плитами двора – ни травинки: то ли ее тщательно выпалывали, то ли ей самой никак не удавалось вырасти здесь. Кирпичные стены, хранившие неприкосновенность и целостность цементных швов и оконных стекол, вздымались во всей тяжеловесной спеси своих четырех этажей. Терпкая черноватая дымка окутывала и здания и дворы, – но то была золотая пыльца наживы... Запах каменного угля и торфа, прелый запах пряжи, зловоние красителей, машинного масла, смоченного сукна – все было мило братьям Зимлерам.

После вчерашнего обеда они выпили только по чашке кофе с молоком, съели по маленькому сухому хлебцу и самую чуточку масла. Но что им был аромат жареной картошки перед этим пиршеством дела!

Она, *их* фабрика, возникла без всякого предупреждения, как будто сама вышла им навстречу. А они-то думали, что она находится еще через два квартала. Откровенно говоря, братья даже не сразу узнали ее. Вдоль улицы тянулась низкая выщербленная стена. Фасад, обращенный к дороге, был, пожалуй, не лучше. Заржавленная железная решетка, и сразу же снова угол стены. Вот и все владение! Два угла, торчащие, как плечи чахоточного, и сжатое ими мизерное строение. Братьев охватило отчаяние, мрачное предчувствие будущего давило, как свинец. Жозеф попятился, наткнулся на противоположный тротуар и сел па тумбу. Сердце его упало.

Братья не сразу осмелились взглянуть друг на друга. А ведь они почти целое утро мерили *ее* вдоль и поперек. К тому же имелись планы, имелся дециметр... Но они так давно мечтали, так долго добивались своего, что теперь какое-то бессилие охватило их.

Они тяжелым взглядом осматривали *свою* фабрику по частям, и каждый кусок стены, каждая мелочь вставляли перед ними, насмешливые и уничтожающие.

Стена была вся выщерблена, черепицы, выложенные по ее гребню, высыпались. Решетка изъедена ржавчиной. Выбоины бороздили шлак на дворе; от самого пустячного дождя они превратятся в глубокие рытвины. Каменное крыльцо потрескалось. На том месте, где когда-то стояли весы, зияла дыра, полузасыпанная мусором. Братьям был виден только угол главного здания: какой-то удивительно жалкий железный лист, похожий на отвисшую губу, сползал с края крыши.

Что касается домика, «вполне пригодного для бездетного привратника», то они не могли отвести от него глаз. Они думали о просторном доме в Эльзасе, который свободно вмещал их всех; они не смели признаться даже самим себе, что эта маленькая коробочка, этот домишко с двумя круглыми оконцами, переплеты которых потрескались на солнцепеке, всей своей тяжестью вошел в их жизнь и что отныне им некуда от него уйти.

– Она... она... мне, признаться, показалась совсем другой.

– Мы с тобой просто наглупили, как мальчишки. Даже запахов здесь не было, и это казалось особенно странным. Только временами со двора тянуло затхлостью. Труп фабрики засасывало трясиной немоты. Тени цеплялись за ощеренные плиты двора.

– Нужно, однако, собраться с мыслями, – пробурчал Жозеф, машинально проводя рукой по волосам.

Тумба была для него чересчур высока: он касался земли только носками штиблет; шляпа, которую он положил на колени, мерно подпрыгивала. Он услышал шепот брата:

– Чтобы эта фабрика занимала целый гектар? Да никогда в жизни! Она же до смешного маленькая.

Жозеф молча поднялся. С непокрытой головой, под палящими лучами солнца, он решительно направился к фабрике. Он шел вдоль стены, считая шаги. Шагал, коротконогий, энергичный, как жук, нелепо расставляя на ходу ноги. А глаза не отрывались от угла стены, слишком быстро надвигавшегося ему навстречу.

Старший брат следил за ним застывшим тупым взглядом и тоже машинально считал про себя шаги.

Досчитав до пятидесяти, Жозеф остановился, топнул ногой и обернулся. Порядочный кусок стены, уходившей вдаль, отделял его теперь от угла улицы и держал на месте, как вытянутая рука. Он зашагал дальше. Он прикидывал, будет ли до конца стены ну хоть тридцать метров. Чем ближе к углу, тем соблазнительней было ускорить шаг.

– Шестьдесят, шестьдесят один... – неглупо я сделал, что еще давно вымерил свои шаги... шестьдесят четыре, пять, шесть... Конечно, в этой стене не больше восьмидесяти метров. Семь, восемь... Планы фальшивые, и мы просто кретины.

Восемьдесят шагов, а стена еще не кончилась. Жозеф волновался, но невольно отметил про себя легкое оседание кладки.

На девяносто пятом шагу все глубокие трещины, бороздившие мостовую, сбежались к нему и медленно закружились; потом закружились быстрее; пространство завихрилось вокруг него, неровности песчаника вдруг прогнулись кольцом и застыли в чудесной неподвижности.

Он уперся рукой в стену, обжег ладонь и двинулся дальше.

– Девяносто шесть, девяносто семь, девяносто восемь, девять...

Что произошло после этого шага, Жозеф и сам толком не знал. Перед ним был еще не меренный кусок стены – он то сжимался до почти осязаемой близости, то вытягивался до самого горизонта.

Согнувшись вдвое, владелец стены и фабрики созерцал эти чудодейственные метаморфозы без малейшего удивления. Тем не менее он бросился бежать и ухватился за угол стены, прежде чем она успела ускользнуть из-под его пальцев.

Глазам брата, поджидавшего его на месте, представилась довольно странная картина: на противоположном конце пустынного переулочка темно-коричневый силуэт обеими руками цепляется за нестерпимо блестящую под солнечными лучами стену и выплясывает танец дикарей.

И слышатся нечленораздельные вопли:

– Планы, оказывается, верпы! Эй, Гийом! Сто двадцать пять метров, сто двадцать пять – как минимум!

И тогда Гийому начинает казаться, что распахнулось какое-то окно и освежающий порыв ветра пронесся над всей землей. Он хохочет во всю глотку, оборачивается, в надежде найти какого-нибудь слушателя и поразить его сообщением о чудесной длине этой маленькой стены, но внезапно замечает, что пляшущая фигурка в коричневом костюме воспользовалась минутой его рассеянности и куда-то исчезла.

И вдруг происходит чудо. Фабрика сразу становится выше на целый этаж. Домик при-вратника оборачивается роскошной виллой. Жалкая кирпичная труба превращается в мощную колонну тридцати метров высотой и вот-вот начнет выбрасывать к раскаленным небесам клубы дыма. Летнее солнце заливает огромные цехи, которые покоятся на солидных балках, как на костяке гиганта...

Они снова стоят рядом, прижавшись лицом к прутьям решетки. Жозеф побагровел и с трудом переводит дух:

– А мы все-таки идиоты... Я... я вымерил нашу фабрику. Все, все хорошо.

Оставшееся до отхода поезда время они провели возле стен *своей* фабрики, касаясь ее руками, щупая, оглаживая.

Их пьянило будущее, оно вставало перед ними в трех измерениях – в высоту, глубину и ширину, особенно в ширину.

Когда они наконец оторвались от своего сокровища, руки у них были рыжие от ржавчины, а на руках остались следы извести всех оттенков, как краски на палитре.

Они осмотрели почту, Торговую палату, пристань на канале, потом заглянули в ближай-шие магазины – бакалейный и булочную, – чтобы угодить Термине. Затем их снова видели перед Коммерческим клубом.

В четыре часа местный торговец шерстью – особа малозначительная – шел из своей конторы в лавку и вдруг столкнулся с двумя незнакомцами, которые, пришепетывая, окликнули его.

Вечером того же дня в Коммерческом клубе он дал исчерпывающее описание братьев Зимлеров, и оно вплоть до осени оставалось единственным достоверным свидетельством о новых владельцах фабрики Понсэ. Надо заметить, что в течение всего лета комиссионер Габар строго хранил на их счет молчание.

– Итак, – рассказывал господин Булинье, – внешний вид их таков: потные, растрепанные, а пыли на них, пыли... Пыль – уверял рассказчик, – покрывала их лица, точно маской, так что трудно было даже рассмотреть, какие они из себя.

Оба, как видно, до крайности устали, – пыль подчеркивала сетку морщин. Оба давно не бриты. Оба весьма многословны от излишнего возбуждения. Так, по крайней мере, думал господин Булинье. Толстый, по всей вероятности, выполнял, так сказать, дипломатические функции. Он, в очках, а воротничок снял и положил в карман. Говорит с сильным эльзасским акцентом, что отнюдь не способствует ясности речи.

Второй – невысокий и худощавый; у него огромные усы, говорит как-то отрывисто, будто тавкает.

Приезжие сообщили Булинье, что у них в Бушендорфе, в аннексированной области,² имеется суконная фабрика. Они, мол, не пожелали онемечиваться, и потому Зимлер-отец послал их во Францию подыскать что-нибудь подходящее. Прибыли они нынче утром и уже успели приобрести фабрику Понсэ. Намереваются в октябре перевезти сюда свое оборудование и тут же начать дело.

Они показали Булинье рекомендательное письмо, составленное по всей форме и подписанное господином Дольфусом из Мюльхаузена. Они, как дикари, размахивали руками перед господином Булинье и совали ему под нос свернутую гербовую бумагу, – это, по их словам, была купчая, скрепленная доверенным лицом наследников Понсэ.

Под конец они открыли ему свой самый честолюбивый замысел: эти пропыленные чучела обратились с просьбой к господину Булинье, не будет ли он так любезен порекомендовать их в члены Коммерческого клуба.

При воспоминании об этом достопочтенный торговец шерстью, не в силах справиться с обуревавшими его чувствами, бил себя по ляжкам и перекатывал по спинке кресла свою массивную круглую голову с жирным загривком.

Завсегдатаи клуба выслушали эту историю с полным безразличием. Затем господин Булинье, который никогда карт в руки не брал, решил попытаться счастья, – он уселся за зеленый стол и проиграл триста франков, успев за это время рассказать вторично свою историю только до половины.

Однако кое о чем он умолчал. Например, о том, что сам засыпал Зимлеров целым градом восклицаний: «Уважаемые господа», «будьте благонадежны», «всенепременно», «еще бы», «с вашего разрешения», – и даже поспешил предложить свои услуги для подыскания второго поручителя.

Если бы братья Зимлеры появились на свет божий только вчера, они уехали бы в глубоком убеждении, что в лице мелкого торговца господина Булинье имеют преданного друга, который готов за них в огонь и в воду. Но они знали по опыту, что предупредительности поставщиков нужно верить не больше чем процентов на двадцать пять, – это положение они десятки раз имели случай проверить на опыте.

² В результате франко-прусской войны Эльзас и Лотарингия в 1871 г. согласно Франкфуртскому договору отошли к Германии; возвращены Франции в 1918 г.

IV

Между тем, согласно весьма неопределенному расписанию, по железнодорожному полотну, проложенному согласно принципам самой мелочной экономии, дребезжали вагоны узкоколейки.

Миновав привокзальные постройки, паровичок взобрался на насыпь, и с высоты ее братья Зимлеры увидели город, а в городе *свою* фабрику. Оба бросились к окошку. Узкая его прорезь зажала их головы, как тисками.

Открывшаяся перед ними панорама была действительно достойна внимания. С первого взгляда все казалось немножко ненастоящим, как игрушечный макет. Но откос железнодорожной насыпи связал этот скачущий за окном пейзаж с движением поезда, и то и другое оказалось в одном плане.

От города, как тяжкий стон, шел гул труда. Черепичные крыши были усеяны блесками июльского солнца. Над ними дрожал горячий воздух.

Двести фабричных труб, о которых упоминалось в путеводителе, возносились ввысь, подобно гигантским кариатидам. Без передышки выплескивали они в небеса клубы дыма. С минуту дым неподвижно стоял на месте, но слабый восточный ветерок подхватывал его и гнал дальше сплошной тучей.

Целая угольная шахта в Кардифе питала этот мощный поток. Зловонное дыхание, омрачавшее здешнее небо, давало работу шести артелям углекопов. Город ежедневно поглощал два состава с английским каменным углем. Иными словами, в мире существовало четыре брига, предназначенных специально для перевозки топлива в Вандевр. Они приходили один за другим, глубоко сидя в воде, с их блестящих деревянных хребтов стекала вода, и казалось, этим чудищам нипочем любая непогода. Когда первый бриг отправлялся восвояси, обнажив полосу ватерлинии, подпрыгивая на гребнях волн, как ярмарочная плясунья, и встречал своего товарища, гонимого попутными волнами Ла-Манша, он сигнализировал «угольщику», что двести труб голодают и жадно ждут нового груза.

Конечно, братья Зимлеры не знали всех этих подробностей, но даже само безмолвие нависшей над городом черной тучи было весьма красноречиво.

Какая-то полоска, сверкнув, как лезвие сабли, перерезала долину и обдала их на мгновение снопами лучей. Канал! Вечерний свет ровными слоями струился над ним. Братья успели заметить с десятков продолговатых коробочек, блестящих, как лакированные, и с виду неподвижных. Но братья знали, что эти коробочки плывут вперед, выпятив брюшко и разрывая переливчатый атлас вод, и что каждая везет триста порций каменного угля, по тонне в порции.

Железнодорожное полотно описало широкий полукруг по склону холма. Поезд, тяжело пыхтя, брал подъем. Внизу вдруг снова распростерся город.

Весь город бодрствовал, и только *их* фабрика спала. Какое там спала!.. В том месте, где находится их детище, в самом центре Вандевра, зияла глубокая рана, бездонная пустота, и в этой пустоте все их надежды.

Поезд навис над тем кварталом, где им предстояло жить. Черный глухой двор, разрушенные крыши, четыре корпуса, плотно слитые в горбатый четырехугольник, проплыли перед ними.

Повинуясь изгибу путей, поезд повернул к долине, и братья на мгновение как бы проникли взглядом в тайны уже изученной ими фабричной трубы. Они заглянули в ее сырую, грязную глубину. Один край трубы был отбит Ударом молнии. Из окна шедшего под уклон вагона казалось, что она вот-вот рухнет. Труба удалялась на север, так и не распрямившись. Клубы дыма, вырвавшиеся из паровоза, заволокли *их* трубу. Она исчезла. Но был еще виден угол зда-

ния. Краем разбитого стекла высекло солнечную искру, она вспыхнула и потухла. Появилась решетка и растаяла, как воспоминание.

Когда дым разошелся, взгляды Зимлеров напрасно искали вновь то место, где находилось их детище. Прядильная фабрика Лефомбера заслонила весь квартал своим безукоризненно стройным корпусом.

Товарный поезд смело бросился между Зимлерами и долиной. Вагоны кромсали в куски открывавшийся из окон пейзаж. Просветы между вагонами равномерно чередовались с темными полосами, тишина – с грохотом, как будто пьяные гиганты выстукивали телеграфную азбуку; угольные платформы на мгновение угрожающе нависли над долиной горбатыми спинами. Но вагоны тут же, снова заслонили дневной свет, и товарный поезд, нестерпимо громыхая, умчался со своими шумами и тенями, показав па прощание два задних колеса, подминавшие ветер.

– Пусть меня дьявол возьмет, если уже будущей зимой один из этих вагонов не придет в адрес Зимлеров «франко-вокзал», – пробормотал Жозеф, очевидно стараясь оправдать хриплый вздох, вырвавшийся из его груди при виде поезда, который удалялся к Вандевру с грузом, предназначенным пока что для других.

Жозеф пытался проникнуть взором в будущее. А Гийом пристально всматривался в сегодняшний день. Он невольно возвращался мыслями к фабрике в Бушендорфе, – она безмолвствовала ныне, как и новое их владение, только что промелькнувшее за окнами поезда.

Эскадрой уланов расположился в главном корпусе, обсаженном деревьями, – одноэтажном длинном строении, где стояли ручные станки. Еще десять лет тому назад обоим братьям казалось, что нет на свете более грандиозного сооружения.

Отец, сбывчившись, глубоко засунув руки в карманы, мрачно шагал по спальне, проклиная и богохульствуя, и шея его наливалась кровью. С тех пор как пруссаки заняли их городок, он не переставал рвать и метать.

При первом же известии, долетевшем из Висенбурга, он остановил станки, распустил рабочих, запер все двери. Искавшие постоя солдаты в остроконечных касках посбивали замки. От нетерпеливых ударов лошадиных копыт дрожали стены склада для хранения шерсти, превращенного ныне в конюшню. Иногда слышался глухой стук станка – это развлекался какой-нибудь саксонский ткач, звучал его грубый смех, и выброшенный из окна челнок еще долго подпрыгивал на камнях двора.

Старик Зимлер не выходил из комнаты. Целыми днями он гулко шагал по паркету. Под конец он даже протоптал на вошеном полу тропку... Временами шум шагов затихал, и тогда скрипел стул.

Мать приносила ему обед наверх, старик наспех проглатывал еду, не переставая проклиная и чертыхаться. Матери не было слышно. Она долгие часы безмолвно просиживала над своими коклюшками.

Бушендорф был так стремительно захвачен передовым отрядом немецкой кавалерии, что оба сына не успели присоединиться к своим частям. Трудно сказать, доставило ли это старику в его унижении и гневе хоть какое-то удовлетворение. Во всяком случае, единственным свидетелем борющихся в нем чувств были сломанные стулья.

Гийом и Жозеф томились от бессилья. Они выходили пройтись по фабричному двору. При виде серой шинели оба бросались домой, запирались в комнатах и читали немецкие газеты, – победители как будто случайно забывали их на всех стульях.

Покидать город им было запрещено. Часовые, позевывая, стояли у старых крепостных ворот. Каждый день, в пять часов, братья, согласно приказу, должны были являться в караульную ратуши. Там немецкий капитан – мужчина в годах – доставлял себе невинное развлече-

ние: он всякий раз с особой тщательностью удостоверял их личность, хотя узнавал Зимлеров издали по походке.

Присутствовавшие при этом солдаты особенно потешались, когда капитан добирался до шрама на груди Жозефа. Это было первое и последнее воспоминание Жозефа об охотничьем ружье, которое в один прекрасный день разорвалось у него в руках. Когда капитан приказывал Жозефу раздеться и ходил вокруг, ощупывая его заплывший жиром торс своими недоверчивыми, инквизиторскими пальцами, караульные помирали со смеху.

Однажды Жозеф, не выдержав, швырнул в лицо мучителю скомканную рубашку. Чтобы спасти его от расстрела или в лучшем случае от высылки в Силезию, потребовались чрезвычайные меры. В этот день Зимлер-отец вышел из своего заточения и, не колеблясь отвалил хворост, которым был замаскирован вход во второй погреб. Капитан сначала до того орал, что чуть не задохся в тугом красном воротнике своего мундира. Эльзасский акцент папаши Зимлера в конце концов одержал верх над бадейским говорком прокурора, и в тот же день прокурорша была извещена, что ее супруг высылает домой пятнадцать ящиков самого лучшего вина.

Когда старик поднялся к себе, он, чтобы избежать апоплексического удара, разбил о мраморную доску хрустальный колпак, покрывавший часы, и вылил себе на голову ведро холодной воды.

Но вполне возможно, что причиной ярости старого Зимлера и его сыновей были в такой же мере убытки, безмолвный корпус фабрики, прекращение торговых операций, поток счетов от кредиторов, как и бедствие, постигшее их родину.

Гийом весь ушел в свои воспоминания, – неожиданно чья-то рука коснулась его локтя, и в ту же минуту какие-то жалобные звуки достигли его слуха. Он заморгал и вдруг увидел заходящее солнце, увидел город, бесформенные очертания которого расплывались вдаль, увидел вагон и Жозефа, наклонившего к нему побагровевшее лицо.

– Послушай-ка, – сказал он.

Из долины внезапно поднялся протяжный вопль, в котором звучала нечеловеческая тоска, – сейчас он заполнил собой все пространство.

Сначала это был один-единственный вопль. Но тот, кто испустил этот вопль, должно быть, вызвал ответные жалобы. По равнине прокатились другие, еще более пронзительные голоса. С визгом снаряда они пронеслись совсем близко. Казалось, стадо быков там внизу испускало предсмертный рев.

Главная улица отсюда, из вагона, уменьшенная расстоянием, лежала узенькая, как ниточка.

– День кончился – для тех, – пробормотал Гийом. Да, день кончился. Еще один день с сотворения мира канул в бездну дней. Необъятностью жалобы измерялась беспредельность непоправимого. Солнце тонуло в клубах дыма, заволакивавшего горизонт.

Но тут под вагоном сдвинулся острый язычок стальной стрелки. Она дождалась поезда, завладела его колесами и с силой потянула за собой. Их тряхнуло, на мгновение на повороте склона мелькнули четыре стальные полосы. Потом их бросило в левую сторону, и неосвещенный вагон въехал куда-то в ревшущую темноту. Их отрезало от города длиной и глубиной туннеля, всей тяжестью незрячей горы.

Снова в окна ударил свет. Но теперь он освещал местность, которая ничем не могла насытить ненасытных Зимлеров.

Напрасно устремлялись к небесам, туда, где зияла рана заката, стройные сосны. Напрасно из оврага блеснул кровавым отблеском пруд и потух. Напрасно поезд, пересекая холмы, врезался в окутанный сумерками лес, пугая своим грохотом фазанов и сов, беззвучно хлопавших крыльями на вершинах огромных буков; напрасно, содрогаясь на стыках, вздрагивали тормоза при крутых спусках в меркнувший свет равнин.

Они вышли из искусственной ночи туннеля, чтобы погрузиться в сумерки настоящей ночи, но напрасно долина расстилала перед ними все изобилие зеленых изгородей, виноградников и роз. Напрасно широкая река вдруг выбежала из-за мелового утеса и вывела им навстречу свою свиту неподвижных тополей, вся в дрожащих завитках заката, умиравших у ее берегов. На заливных лугах, где дремали в густой траве коровы, вырисовывалось кружево вечерних теней. Деревенские домики из белого камня, повернутые окнами к западу, словно висели в воздухе и вместе с крохотным круглым облачком хранили последние красные отблески заходящего солнца. Вечерние колокола гудели вокруг деревни, точно пчелы над ульем. Венера вытесняла последние багровые полосы и завоевывала вечернее небо. Но напрасно. Напрасно повторялось каждодневное чудо заката на глазах двух эльзасцев.

У поворота реки мост, взорванный восемь месяцев тому назад, перед наступлением Мантейфеля,³ купал в воде свой железный каркас. И братья Зимлеры устремлялись мыслью к родному востоку, там искали они подкрепления для жестокой схватки, так не похожей на благоговейное затишье этого летнего вечера.

³ *Мантейфель* Эдвин (1809–1885) – прусский маршал, губернатор Эльзаса-Лотарингии с 1880 по 1885 гг.

V

Позже Гийом не раз вспоминал об этой бесконечно долгой стоянке у перрона какой-то станции.

По крыше вагона зашлепали шаги. В потолке с металлическим скрежетом открылось отверстие, и в его бездонной сиреневой глубине заблистала звезда. Но звезда исчезла. Последовала короткая борьба между жердью с пучком пакли на конце и робким желтоватым огоньком. Сухой отрывистый звук. Шаги удалились, оставив в знак победы стеклянную клетку, перепачканную смазочным маслом, на самом дне которой, прикованный к железному стерженьку, барахтался робкий огонек.

Пусть робкий! Этот агонизирующий свет оказался достаточно мощным, чтобы отгородить нагретый ящик вагона от всего остального мира. С той самой минуты, как фонарщик водрузил его сюда, пассажиров сжали две равно плотные стены: стена света и стена мрака.

Ночь вступала в свои права. И неизвестно, сколько она еще будет длиться.

Какая-то сила подхватила вагон и повлекла за собой. Никто бы не определил точки ее приложения, ибо вагон сразу подался вперед всем своим корпусом. Снизу послышался глухой грохот, похожий на грохот кузнечных молотов. И все стало дрожью.

Так начиналась битва. По условию требовалось в течение одной ночи доставить на расстояние шестидесяти лье триста тонн мертвой материи, разбитой на квадраты.

Гийом твердил про себя эти цифры, как школьник задачу: триста тонн! Он прикрыл глаза. Ветер, бивший в маленькое оконце, был не в силах разогнать затхлый смрад, переполнявший купе. Эльзасец приподнялся и, преодолевая толчки, развязал шнурки полуботинок. И сразу же опухли ноги. Он пошевелил пальцами в белых бумажных носках, затвердевшие швы которых точно огнем жгли пятки.

Прежде чем улечься снова, он взглянул на брата. Жозеф уже храпел. Голова его соскользнула с желтого чемодана, заменявшего подушку; она соскользнула на самый край скамейки и была теперь ниже груди. Правая рука касалась пола, где плясала в такт перестуку кузнечных молотов пыль небывалой густоты.

Гийом не мог отделаться от мучительной мысли, что рука эта не живая, а муляж, выставленный в окне колбасной. Уже не раз он с неприязнью замечал, что на всем облике Жозефа лежит печать отцовской мощи. Тот же сон, наступающий мгновенно, та же ноздреватая кожа на шее, те же скулы, подчеркивающие полукружия мясистых щек, – все говорило о недюжинной силе, о шумной веселости, о порывах желаний, налетающих, как вихрь, и о внезапных вспышках гнева, неотвратимых, как жажда или голод.

Гийом снова подумал, что есть же такой закон, согласно которому два самца, даже одной породы, ненавидят друг друга. Пусть это лишь смутное ощущение, но именно так стоял вопрос. Впрочем, у Гийома не было ни привычки ни времени ставить вопросы. Он подошел к Жозефу, намереваясь приподнять его голову и водрузить ее обратно на дерматиновый чемодан, заменявший подушку, но в последнюю минуту передумал и толкнул брата в плечо.

– Эй, эй!

Жозеф открыл глаза и, прежде чем окончательно проснуться, успел чертыхнуться раз десять, совсем как отец, а потом растерянно уставился на склоненное над ним лицо брата, на котором человек тонкий сразу бы прочел нечто очень далекое от любви и сердечной близости.

И тут же снова задремал. Теперь мысль о судьбе Зимлеров жила лишь в бессонном мозгу Гийома... Если не считать, конечно, того, что в Бушендорфе жила она в сознании бодрствующей матери, которая, склонясь под старинной медной лампой, не смыкала глаз и с неусыпной тревогой мысленно следовала по пятам за сыновьями.

Гийом снова повторил условия задачи: триста тонн, шестьдесят лье. Свет лампы, падающий на страницы библии, которую ежевечерне читает мать, столь же успокоительно сладок, сколь яростно вертляв огонь здесь, наверху, запертый в стеклянной клетке, перепачканной смазочным маслом.

Да, все борьба. Материя инертна. Материя разбита на квадраты. Пространство вытягивается, утончается. Материя и пространство, скольжение одного по другому. В этом – все. Трение. Нагревание. Гийом Зимлер ощущает их так явственно, будто его собственное натруженное тело тянется через ночь, через стыки рельсов, по нескончаемо длинному вертелу железнодорожного пути.

Ночь обволакивает его своей студенистой мглой. Гийом Зимлер приподымается на локте, он хочет поглядеть в окошко. Но взгляд его сразу отскакивает обратно, ибо там сплошная стена теплого мрака. Он напрягает зрение. Дерево, выхваченное из тьмы лучом фонаря, церемонно проходит мимо и исчезает, испустив вздох. Вот и все. Гийом снова ложится на скамейку. Сак-воаж, как нарочно, перевернулся и оцарапал застежкой щеку. Гийом тихонько чертыхается, ложится на другой бок и снова берется за решение задачи.

Еще мальчиком Гийом Зимлер, возвращаясь вечерами из школы, присматривался к поездам, замедлявшим ход как бы от усталости, и еще тогда научился понимать эту усталость. Уставший поезд – это уже не поезд, он просто личинка, затерявшаяся в бездне летней ночи; из одного ее конца с надсадным хрипом вырывается пар, пламя и искры, а на другом пылает треугольник красных огней, ползущих вверх на пригорок; позади провалы молчания и глубина – притягивающая, хищно всасывающая беспомощную личинку.

По правде говоря, Гийом сейчас не особенно верит, что впереди ползет тележка с углем. Не верит и в то, что ее загружают доверху. Изумленно следит он за усилиями клячи, которую почему-то считают белой и которая, болтаясь в слишком широкой сбруе, тащит за собой несомерно большую повозку.

Поворот улицы. Тележка трясется по камням мостовой, грохочет, как артиллерийский обоз. Какой-то человек, кляня всё и вся, осыпает ударами кнута свою клячу, этот живой скелет. Солнце мечется как оглашенное, обдавая вселенную жаром топки.

И вот вслед за первой тележкой – вторая, а там по пологой боковой улице подымается целая вереница огромных черных, груженных доверху тележек.

Напрасно ободья колес, грохочущие по камням мостовой, стараются воспроизвести дробный перестук кузнечных молотов. Гийом уверен, знает, что обозу ни за что не одолеть подъема. Ему так хочется объяснить головному возчику, что трение мешает... И вот возчик поравнялся с ним. Черными пальцами он извлекает из кармана блузы перепачканную бумажку, которую Гийом Зимлер сразу узнает. И нет надобности еще раз заглядывать в железнодорожные накладные.

«Товарная станция! Товарная станция, тупицы! Вы что, читать не умеете, что ли? Что же, прикажете мне тащить всю эту штукнину домой?»

Возчик, не останавливаясь, равнодушно отмахивается и вытирает потный лоб тыльной стороной руки со вздутыми венами. Асфальт, покрывающий тротуар, размяк под тонкими подошвами Гийома. И он испуганно глядит на вереницу тележек, проезжающих мимо. Ему хотелось бы уйти. Слишком он уверен в том, что произойдет. Но он не может уйти, – в этом он тоже уверен. Он стоит и смотрит, как медленно проплывают мимо него тележки, как выплескивается на землю уголь, и сверкающий канал до боли режет ему левый глаз.

Он подсчитывает. Просто так, для очистки совести. Необходимо проверить эту партию груза. Ему хочется пойти и подобрать кусочки угля, падающие с тележек. Мучительно смотреть, как безжалостно дробят колеса бесценное горючее. Никогда еще уголь не казался ему таким маслянистым, таким нарядным. Уголь маслянист, как овечья шерсть. Особенно ему люб кардифский уголь, ярко поблескивающий на изломах; но колеса надвигаются и на него;

кажется, тележка сейчас приподымется в воздух, а уголь блеснит, как орех, и разлетается тускло-черным облачком, которое сразу же прибывает к земле.

Гийом старается подсчитать. Итог ясен. Что составляют триста тонн на краю бездонного рва, долженствующего покрыть баланс?

Жозеф, без шляпы, отправляется на поиски привратника – бездетного привратника, необходимого в каждом порядочном доме. Он, кажется, совсем забыл, что домик должен приютить отца, мать, Гермину и детей. Кто же позаботится о балансе? Интересно, откроет ли калитку сам отец? Разве не могут эти возчики оставить злосчастный уголь на складе, на берегу канала, у черта, у дьявола?

В конце улицы возникает запах такой непереносимо острый, что Гийом Зимлер невольно поворачивается в ту сторону. Почему там пляшет этот человечек? И неужели только бравады ради носит он не обычный головной убор, а широкополую шляпу из посекевшегося шелка?

Незнакомец открывает рот, и Гийом задыхается от запаха чеснока и гнилых зубов. Человек этот кругл, как бочонок. По его лицу щедро рассыпаны веснушки, похожие на божьих коронок; они словно стараются вытеснить мощный слой грязи, слившейся с багряным румянцем щек. «Черный, желтый, красный. Настоящий бельгийский флаг», – думает Гийом и невольно улыбается.

«Я... я пришел, чтобы... так сказать, чтобы... приветствовать господ З... Зми... хм-хм!.. Зимлер... и ком... и ком... и компанию по случаю, так сказать, прибытия».

Он не то, чтобы заикается, но его распирает такая неумемная потребность излить свои чувства, и такая горячая симпатия, такое дружественное сияние написано на его лице, что, ей-богу же, он мямлит только от избытка чувств.

Господин Булинье имеет случай еще раз убедиться в том, что доброта души производит желанное впечатление. Старший Зимлер озадаченно молчит. Он уже не знает, где отдается грохот тележек – в его ли собственных ушах, или в глубине бесконечности. И закрытая калитка (кто ее отопрет? папа?), и несходящийся баланс, и Жозеф... Куда же это запропастился Жозеф?

Гийом считает своим долгом ответить от имени отца, господина Зимлера, единственного владельца фабрики Зми... хм!.. просто Зимлера, что фабрика Зимлера весьма польщена теми чувствами, какие ей свидетельствует господин Булинье. (Если бы отец открыл калитку, Гийом непременно услышал бы, как она, повернувшись на заржавевших петлях, протяжно скрипнула, словно ухнул филин – у-ух!) Гийом Зимлер счастлив добавить от своего собственного имени, что он, Гийом Зимлер, позволяет себе надеяться, что их отношения с господином Булинье будут развиваться самым благоприятным образом! Должен же наконец господин Булинье понять, что такой день, как сегодня, выбран не особенно удачно, пусть даже пущены в ход тончайшие оттенки чувств, для человека, только что приобретшего фаб...

Еще не договорив фразы, Гийом чувствует, сколь она неуместна. Но за все сокровища Ротшильдов он не мог бы сказать иначе. Он мог бы с полным хладнокровием добавить, что, без сомнения, господин Булинье не откажется восполнить баланс, пошатнувшийся в связи с переездом Зимлеров, измерив неожиданно прибывший груз с помощью весов, тем более что никто не сумеет столь благородно, как господин Булинье, поддержать их чаши.

«Ха-ха! Шут... ка... тонкая! Могу только по... по... поздравить себя с тем, что сумел завязать отношения с таким, так сказать, остро... остроумным клиентом».

Того и гляди господин Булинье в порыве бескорыстного восхищения бросится на шею ошеломленному Гийому.

«Но дабы предаваться ра... радости с открытой, так сказать, ду... душой, я хочу верить, что господии З... Зми... хм! Зимлер-младший рассеет мое беспокойство насчет маленькой бум... бумажки, на которой поставил свою подпись его глубокоуважаемый ба... батюшка».

Тут Гийом с ужасом вспоминает, что как раз сегодня наступает срок первого платежа за шерсть по договору, заключенному с господином Булинье.

Старший сын Зимлера чувствует, как кровь горячей смолой приливает к голове. Надо бы втолковать этому бочонку, пропахшему чесноком, по каким, собственно, причинам их переезд был отсрочен вплоть до этого пышущего жаром июльского вечера.

Студенистая влажная масса наваливается на Гийома и сковывает его мысль. Даже пешеходу, затерявшемуся в дебрях Центральной Австралии, даже ему скорее, чем Гийому Зимлеру, может протянуться рука помощи.

С минуту он судорожно старается припомнить то, что нужно припомнить. Но вскоре даже этот последний отблеск мысли гаснет, оставив после себя лишь отдаленный след. Гийом надеется, надеется страстно, что где-то в природе существует то самое нужное воспоминание, которое осветит все.

Его утомило непомерное усилие. Голова разрывается от колокольного звона, и Гийом осторожно и ласково, точно ребенка, поворачивает ее на саквояже, заменяющем подушку. Бельгийский национальный флаг исчезает. Но слева его ждет другой призрак – этого Гийом уж никак не ожидал, – и призрак холодно склоняется над ним.

Его треуголка, его васильковый фрак и металлическая планка, напоминающая кирасу и идущая через всю грудь, извещают Гийома точнее всех календарей о наступлении некоего дня. Инкассатор Французского банка стал теперь цифрой, роковым числом 31, и тройка нахально подымается на своей нижней закорючке, точно кредитор, уверенный в своем праве, а единица – двусмысленный символ – хихикает, приказывает, угрожает...

Человек в васильковом фраке открывает рот. Это движение сопровождается скрипом. И Гийом с удивлением узнает скрип ворот их фабрики – ух! Представляясь, незнакомец называет себя, как обычно называют его кумушки.

«У-ух! Разрешите представиться – банкир! У-ух!»

Но вот металлическая бляха и тонкий длинный нос уже отступают куда-то вдаль, сливаются с знакомым пейзажем...

Субботняя вечерняя прогулка. Отец в сюртуке, в цилиндре с расширяющейся книзу тульей. Мать в кружевном чепце с черными шелковыми ленточками, завязанными под подбородком. Мальчики в тесных праздничных штанишках шагают впереди родителей, меж двух рядов рябины, и стараются незаметно поднять как можно больше пыли.

Жарко. И хочется пить. Ноги горят после долгой беготни по горячей земле. Из перелеска, огибающего дорогу, веет свежестью, и она при каждом вдохе вливается в горло, как вишневый сироп, когда его пьешь маленькими глотками. Мальчики искоса поглядывают на опушку леса, населенного пугающими тенями. Майские жуки, сердито жужжа, бросаются наперерез сумеркам. Жабы осторожно раздвигают пыльную траву в придорожных рвах; убедившись, что кругом никого нет, они бросают в воздух свой призыв, звучный и прозрачный, как капелька хрустала.

Но вот отец останавливается поговорить с каким-то толстяком, пальцы которого унизаны перстнями с фальшивыми бриллиантами. Мать держится чуть позади и с беспокойством прислушивается к разговору.

А разговор становится все громче. Незнакомец несколько раз ссылается на кого-то, и Гийом сразу же догадывается, о ком идет речь, – о Жозефе и о нем самом. Стало быть, этот белесый и равнодушный толстяк их тоже знает.

Гийом смотрит на Жозефа. Жозеф смотрит на Гийома. Им хочется быть далеко-далеко отсюда. Потому что их мучит жажда? Нет, им уже не хочется пить, им уже не жарко. Может быть, это из леска потянуло вечерней прохладой? Холодный пот струится вдоль их спин, они щелкают зубами.

Отец подзывает сыновей. Незнакомец вытаскивает из кармана бумагу и звучно хлопает по ней ладонью. Гийом глядит не отрываясь.

«А ну, идите сюда!» – кричит Зимлер сыновьям, угрожающе топорща бакенбарды.

Мама умоляюще вскрикивает:

«Ипполит!»

«Оставь меня в покое. Их надо проучить! Вы слышали, мерзавцы, что сказал этот господин? Значит, это правда? Правда, что вы меня разорили?»

Толстяк сурово глядит на братьев Зимлеров. Он держит нотариальный акт, и бумага тихонько шелестит в его дрожащих пальцах. Впрочем, и без этой дрожи понятно, что в одном из карманов сюртука незнакомец прячет бутылочку водки.

Немота виновных красноречивее признания. Они стоят рядом в пыли, стоят как два идиота. Все шумы внезапно стихают, уступив место напряженной тишине ожидания. От Руфака до Сультсмата каждому известно, каков в гнев папаша Зимлер. И, словно удар, сопровождающий вспышку молнии, разражается буря. И не до улыбок тому, кто слышит, как, удаляясь, отец кричит:

– Поезд стоит пятнадцать минут. При вокзале имеется буфет. Пассажирам на Орлеан – пересадка!

VI

Братья Зимлеры проехали через Париж, как бесчувственный, неодушевленный груз. Затем на вокзале в Труа они покорно подчинились всем формальностям, связанным с проверкой паспортов, хотя полтора года назад один рассказ о подобной церемонии сочли бы неудачной шуткой.

Прусские уланы в плоских касках вертели и ощупывали их, отпуская грубые шутки. И они покорно вертелись, ничто их не трогало, – ничто, лишь бы не посягнули на их завтрашний день, лишь бы им позволили лечь и выспаться.

Замелькали первые табачные плантации: ровные ряды табака сбегались к какой-то неподвижной точке на далеком горизонте и затем начинали вращаться вокруг этого центра с головокружительной быстротой, – еще минута, и они того гляди заденут поезд.

Дубы и ели подступали к окнам. В вагоне сгустился полумрак. И тут острый запах, знакомый, как слова родного языка, напомнил им о тенистых зарослях хмеля, – они подняли голову и растерянно переглянулись.

Когда они уже совсем было отчаялись увидеть пусть самый заштатный вокзал, поезд подошел к Мюльхаузену. Братья уселись в буфете за мраморный узкий столик – как раз между двух открытых дверей, откуда врывался свежий ветер. Пиво им подали в кружках из толстого стекла, тут же покрывшихся легким налетом, – кто мог бы усомниться в прохладной свежести напитка! Они с удовольствием глядели, как широкоплечий белокурый румяный официант старательно и приветливо смахнул пивную пену специальной лопаточкой. И когда Зимлеры протерли пальцем вспотевшие стенки кружек и сквозь стеклянные грани показался ослепительно прозрачный, музыкально шипевший напиток во всем великолепии золотисто-желтого цвета, они вдруг почувствовали, что в сердцах их оживает надежда.

Они боялись признаться даже самим себе, что возвращаются в родной город лишь для того, чтобы скорее с ним расстаться, и что отныне любой расход увеличит сумму их долга и станет прямой угрозой их будущему. Они отдавались тому чувству спокойной уверенности, которое дает человеку только его родина. Оба подняли кружки одинаковым жестом, наслаждаясь знакомым прикосновением толстой стеклянной ручки, обменялись заговорщическим взглядом и выпили.

Пивная пена свисала бахромой с их усов, а они уже снова подозвали официанта, заказали две порции свиных сосисок с капустой и картошкой, пару огромных телячьих котлет, плававших в собственном соку и скрытых под целой горкой зеленого горошка.

Еда только распалила их аппетит. Они бросали на меню, забытое официантом на столике, пламенные взгляды. Они дочиста, как губкой, вытерли белые фаянсовые тарелки хлебным мякишем, выковыривая его угольно-черными пальцами прямо из каравая.

Затем братья потребовали по два огромных куска галантина, мозаичного, как карта Соединенных Штатов, – все в прохладной зыби желе, удивительно аппетитного на вид. А когда перед ними поставили вазу, наполненную крупными яркими вишнями, зеленые хвостики которых торчали, как штыки на составленных пирамидой винтовках, они вдруг почувствовали, что, пожалуй, переели и что в самую пору после такого излишества насладиться кисловатым соком вишен.

Порывистый ночной ветер ударялся то об одну, то о другую створку и отскакивал, как мяч. Приятное ощущение сытости, вечерняя прохлада вызвали прилив тяжеловесной и наивной веселости. Жозеф ухарски сбил на затылок соломенную шляпу, вскинул на лоб очки, как будто восседал на учительской кафедре, – словом, дурачился. И каково же было удивление пассажиров, когда этот дородный дядя начал с самым невозмутимым видом сдувать с кружки пивную пену, норовя забрызгать себе копчик носа, и вообще кривлялся, как обезьяна. Гийом

не отставал от брата: он старательно сдирал колечками кожу с колбасы и нацеплял их на горлышко пузатого графина, бросая комические взгляды на отражение своей физиономии, растянутое хрустальными гранями.

Эти трезвенники, опьяневшие от двух кружек пива, эти вольнодумцы, отважившиеся отведать свинины, наслаждались, как школьники, улизнувшие с урока. Если бы можно было заказать устриц, никакие силы земные и небесные не удержали бы их от этого шага. Но, к счастью, закон Моисеев не был нарушен вторично: ресторан мюльхау-зеновского вокзала не держал устриц; к тому же в дверях показался кондуктор и крикнул, что поезд отправляется.

Братья поспешно расплатились, рассовали вишни по карманам и, подхватив тяжелые саквожи, резавшие им ладони, засеменили к платформе.

Сейчас они уже благодушно поглядывали на отряды пруссаков, на их каски, поблескивавшие в свете вокзальных фонарей. Все казалось им в полном порядке, все шло к лучшему в этом лучшем из миров. Добравшись до купе, они тут же заснули как убитые.

Высокие крыши Бушендорфа венчали беленькие низенькие домики, увитые виноградом и розами. И в этих беленьких домиках были люди, в тревоге ожидавшие решения Зимлеров.

Ибо между доброй половиной Бушендорфа и фабрикой Зимлеров существовала некая связь, не менее ощутимая, чем, скажем, между белыми домиками города и их соломенными крышами.

Другой вопрос, кто в данном случае являлся крышей и кто домиком.

То ли фабрика на манер гостеприимной крыши охраняла домики, ограждала от внешнего мира, давала кров, тепло и свет, – то ли, напротив, город приютил фабрику: это его вода вертела фабричные колеса, это из его камня были выложены ее стены, это он поставлял рабочие руки, оказывал даже мелкие денежные услуги, без которых не могла обойтись фирма в трудные моменты, о чем Зимлеры, впрочем, не любили вспоминать.

Никто бы не мог ответить на этот вопрос. В представлении жителей Верхнего Эльзаса Бушендорф и фабрика Зимлеров настолько слились, что как бы олицетворяли собой Верхний Эльзас.

Когда кто-нибудь говорил: «Зимлеры из Бушендорфа» – это отнюдь не означало, что говоривший хотел как-то выделить их из числа других Зимлеров, живших между Шварцвальдом и Мертом, а просто потому, что тех Зимлеров, которые жили в Бушендорфе, можно было с полным основанием отнести к наиболее характерным продуктам этого города. Зимлеры воплощали его суть, его идеал, я бы сказал даже – его материальную субстанцию, если бы не убоился кривотолков.

Когда на дорогах, ведущих к Бушендорфу, встречались два коммивояжера, промышленяющие шерстью, красителями или мылом для промывки шерсти, или даже два прасола, не имеющие никакого отношения к суконному производству, один из них уж обязательно говорил:

– Значит, идем в Бушендорф? Что ж, городок не плохой. Вы, конечно, знаете Ипполита Зимлера, очень оборотистый человек. Нет? Ну, так вы, конечно, знаете его брата Миртиля, холостяка, у него на левой щеке еще родимое пятно? Тоже нет? А Сару Зимлер, жену Ипполита, дочь старика Моисея Блюма из Лотарингии? Не знаете? Ну тогда и Вильгельма Блюма не знаете – он торгует сукном, шурин Ипполита? Неплохой малый, но, между нами говори, немножко растяпа. А вот Ипполит Зимлер – его не своротишь. Дела у него всегда в порядке. В Сюльтсмате, если пожелаете, мы с вами разопьем по кружке пива, и я вам расскажу их историю с самого что ни на есть начала. Поверьте, я-то их знаю! Покойный родитель мой и Ионатан Зимлер, отец Ипполита, еще в школу вместе ходили, и Ионатану часто нечем было позавтракать, и тогда мой батюшка отдавал ему свою корзиночку с завтраком. Теперь я бы не прочь обменяться с Ипполитом корзинами. Ха! Ха!

Итак, семью Зимлеров связывали с Бушендорфом столь тесные узы, точно сам город был порожден предприимчивостью и смекалкой этого семейства.

Бушендорф был маленький добропорядочный городок с двухтысячным населением, без блеска, без претензий, – под стать ему была и резиденция Зимлера. Старый квадратный трехэтажный дом украшала высокая крыша из плоской черепицы с выпуклыми закруглениями по краям. Недлинная решетка, аллея метров в десять и крыльцо с тремя ступеньками надежно отделяли зимлеровский «замок» от улицы.

У ступенек из белого песчаника были отбиты углы. Уже давно от непрестанной ходьбы по аллее гравий сбился кучками возле длинных бордюров из гвоздики. Решетка была ниже двух метров; сейчас она и сама забыла, каков был ее первоначальный цвет. Каждую весну Сара Зимлер как бы между прочим замечала мужу: «Пошли мне Пуппеле покрасить решетку», и каждую весну Ипполит, пожимая плечами, нехотя отвечал: «Ничего, она еще и так постоит. Л Пуппеле мне самому нужен».

Однако, даже будучи в таком безнадежном забросе, решетка носила на себе отпечаток чего-то аристократического, что наполняло гордостью сердца ее владельцев. Приезжим говорили: «Да вы их легко найдете: увидите по правой руке, если идти от площади, решетку, а за ней дом, – ошибиться невозможно, большой такой красивый дом. Впрочем, спросите господина Ипполита, вам всякий покажет. У них единственная решетка во всем Бушендорфе».

И не раз в самых щекотливых обстоятельствах, когда на карту ставились честь и достоинство фирмы, воспоминание о трех ступеньках из белого песчаника, о коротенькой аллее, посыпанной гравием, и о железной выцветшей решетке служило для Зимлеров лучшим утешением.

Этим вечером гравий особенно громко хрустел под неровными шагами, и две тени бродили взад и вперед между решеткой и крыльцом. Ущербная луна еще не вставала. Неуверенное блуждание теней, скользивших взад и вперед по тесному садику, напоминало монотонное снование челнока, ткущего и ткущего тревогу.

– Сколько раз я тебе повторял, что Ипполит прав. Ты должна больше доверять своим сыновьям. Они все устроят к лучшему. Я знаю Гийома.

У говорившего был глухой, низкий голос. Когда он поворачивался спиной к решетке, линия его плеч резко вырисовывалась на голубоватой стене дома. Каждый раз, когда он ступал левой ногой, его тело всей своей тяжестью оседало, как будто его захватывали зубчатые колеса машины. На нем была мягкая фуражка, с трудом натянутая на огромный череп.

Женщина по сравнению с ним казалась высокой. На неразличимом, как тень, силуэте выделялось только одно пятно – руки, скрещенные на животе.

– Конечно, Ипполит не нуждается, чтобы ему показывали дорогу.

И так как женщина не промолвила ни слова, поощряя своего собеседника к дальнейшей беседе, он добавил:

– Наоборот, Ипполит нам всегда указывал лучший путь. Жозеф... Жозеф вылитый его портрет. Гийом больше похож на тебя, Сара.

– Не знаю. Может быть, Гийом больше...

Она не закончила фразы: продолжение ее, очевидно, было лучше держать про себя.

В стене вдруг открылся яркий четырехугольный просвет – это распахнули окно, выходящее в сад. И сразу обозначились нечеткие силуэты людей, их тени заскользили по саду. Спокойная линия кустиков гвоздики, принимавшая на себя эти странные тени, делала их еще более причудливыми.

Одна из теней вытянулась вдруг вдоль аллеи и замерла на сером гравии. Руки, судорожно скрещенные на груди, обличали натуру порывистую, одержимую яростными чувствами.

Сара Зимлер, в сопровождении хромого, как раз в эту минуту повернула от решетки к крыльцу. Оба застыли на месте, вглядываясь в эту чудовищную тень, наделенную жизнью и тихонько трепетавшую у их ног. Сара указала на нее пальцем, но тень вдруг уменьшилась, секунду помедлила, пробежала по верхушкам рябины и исчезла.

Женщина не могла скрыть своего недовольства.

– Здесь Миртиль... Неужели он никогда не оставит его в покое?

Дверь распахнулась, волна света залила крыльцо, в нее властно вошел чей-то силуэт, и мужской голос прокричал:

– Сара, Сара! И ты, Вильгельм!

Человек, стоявший на крыльце, прибавил это имя, услышав заскрежетавшие по гравию шаги хромого. Но было совершенно очевидно, что, придет на его зов Вильгельм или нет, ему это глубоко безразлично.

VII

В комнате их стало четверо, когда хромой и Сара закрыли за собой дверь.

Огромное тело было втиснуто в вольтеровское кресло, повернутое спинкой к свету. Сидевший вытянул голову, открыв апоплексический затылок, весь в жирных складках.

Тот, что выходил на крыльцо, стоял теперь у стола, опираясь на него кулаком.

Черный профессорский галстук поддерживал его голову, венчавшую длинное тощее тело. Цепкие костлявые кисти рук какого-то буро-красного цвета едва виднелись из-под длинных рукавов сюртука военного покроя, который свободно болтался на прямых, узких, сухих плечах, хранивших полную неподвижность.

Через изрытое оспой трехступенчатое лицо, обтянутое на скулах кожей цвета слоновой кости, шли две резкие полосы. Одна, теневая полоса, лежала под мощными надбровными дугами, другая – под носом. Из первой исходил колючий взгляд Миртиля Зимлера, из второй – его голос с металлическими нотками. Сжатая в висках птичья головка была срезана на затылке, и туда же казались оттянутыми прозрачные, заостренные кверху уши. Под ушами выступали две толстые, как веревка, коричневые жилы, уходившие за галстук. Очевидно, благодаря им голова Миртиля Зимлера была всегда заносчиво откинута назад – мол, ни при каких обстоятельствах она не склонится в унижительном поклоне, обличающем натуры бездеятельные. И в довершение – тонкий горбатый нос, острый, как клинок арабской сабли, хрящеватый, с глубоко вырезанными ноздрями. Все это свидетельствовало о чистоте фамильной крови. И даже слишком костлявые ноги в штиблетах со штрипками не портили общего впечатления.

Сам председатель суда и тот не глядит с таким высокомерным презрением на сановника, попавшего на скамью подсудимых, с каким взглянул брат Ипполита Зимлера на Сару и хромого, вошедших в комнату.

Пока хромой закрывал за собой дверь, Миртиль повернул свою прокурорскую физиономию к старику с пухлым затылком и громко произнес:

– Ипполит, вот Сара и твой шурин.

Голос Миртиля прозвучал хрипло и резко, особенно поражал суровый тон, каким были сказаны эти внешне безобидные слова. Когда Миртиль повернулся и свет лампы упал на его щеку, изуродованную родимым пятном, стал виден налитый кровью глаз, мечущий яростные взгляды.

Из глубины кресла раздался жирный, тягучий голос старика Зимлера.

– Который час? Разве не пора уже детям приехать? – спросил он, не подымая головы.

– Еще нет десяти, Ипполит, – ответил хромой, выступая вперед под презрительным взглядом Миртиля. Он вытащил из кармана золотые часы с двойной крышкой, ключик от которых болтался на цепочке.

– Могли бы, кажется, депешу послать, – продолжал обладатель апоплексического затылка.

Теперь Миртиль повернул к невестке свой прокурорский профиль, всем своим видом выказывая готовность выслушать ее ответ.

Руки Сары, скрещенные на черной атласной с разводами юбке, поднялись и отбросили мешавшие ей завязки чепчика; она вздохнула:

– Да поймей же терпенье, Ипполит! У детей просто не было времени. Они, наверное, бог знает как устали. Если даже они не все сделали по-твоему, не выходи из себя. Ты же знаешь, как они стараются. Вы с Миртилем поправите, если что-нибудь будет не так.

– Это легко в домашнем хозяйстве, а в делах: подписано – кончено!

Слова падали с тонких губ Миртиля резкие, как удары молота по наковальне. После каждой фразы он гордо выпрямлялся.

Складки на жирном затылке Ипполита заходили; комнату наполнил оглушительный рев:

– Подписано? А почему они должны были подписывать? Что они такое могли подписать?

Разве подписывают, если есть хоть какой-то риск для отца, семьи, состояния?

– Но ведь вы, Ипполит, дали им доверенность, – Умильно пропел хромой.

Сара пожалала плечами, степенно направилась к буфету и открыла дверцу. Кресло задвигалось. Ипполит обернулся. Как будто темная волна встала между лампой и присутствующими. Плоское, почти четырехугольное лицо, прочерченное красными жилками, массивный лоб, выпуклости которого подчеркивали величину и крепость черепа.

Седые густые бакенбарды расширяли и без того широкие обвислые щеки. Все черты были стянуты к середине лица, так что к ней невольно приковывалось внимание. Только она одна и двигалась при разговоре, все остальные части этой тяжелой мясистой маски казались каменными. Взгляд старика Ипполита как будто хотел охватить и удержать в поле зрения добрую половину горизонта. Отсюда эта неподвижность, в которой не было ничего человеческого, а скорее медлительность, свойственная стихии. Астрономическая неподвижность.

Хромой замер как загипнотизированный. Старик сосредоточил на нем все свое внимание и сдвинул брови, словно его глаза, привыкшие к иной мерке, не могли иначе заметить столь хилое существо.

– Ты что, совсем идиотом стал, Вильгельм?

С его губ срывались бешеные крики, пеной вскипавшие между бакенбардами. В буфете задребезжали стаканы.

– Почему «идиотом»? Что ты хочешь этим сказать? – ответил хромой с полной наивностью. Но было ясно, что его глухой голос вопиет в пустыне.

– Ты что, идиот? Или ты просто желаешь нам зла?

Миртиль резко выпрямился и, презрительно фыркнув, стал с высоты своего роста разглядывать ничтожное существо, которое позволяет так с собой обращаться. Вильгельм доверчиво протянул руки с толстыми растопыренными пальцами, показывая этим жестом всю чистоту своих намерений и чувств.

– Но ведь когда ты подписал доверенность на имя твоих сыновей...

– А кто первый предложил дать доверенность? – проревел голос Ипполита.

– Ага, – подбавил Миртиль.

– Я... я... предложил, Ипполит, я и не думаю этого отрицать, но...

– Что «но»? – заорал старик. – Я тебе сейчас объясню, что значит твое «но». Оно означает, что в данный момент мои сыновья находятся неизвестно где, и неизвестно где находится – может быть, в кармане, в саквояже или в тумбочке, – находится, повторяю, гербовая бумага, а на ней весь свет может увидеть подпись Ипполита Зимлера; я это означает – посмотри на эту лампу, на этот стол, на этот ковер, на серебро и на весь наш дом, фабрику, станки, шерсть, на мой сюртук, – это означает, что все может пойти прахом, все погибнет, все рухнет из-за этой самой подписи и что... Сара, принеси сюда перо, которым я подписал доверенность!

– Ага, – подбавил Миртиль.

– И когда я написал эти два слова: «Ипполит Зимлер», знаешь, что я написал? Я написал: «Зимлер разорен».

– Да почему ты так думаешь? – закричала Сара от буфета.

– А как ты хочешь, чтобы я думал? Мое имя разгуливает по всему свету на клочке белой бумаги, и вы еще до сих пор не заперли меня в сумасшедший дом! Принеси сюда перо, я тебе говорю! Редкостный случай, как видите, – вместо одного Зимлера становится два, один сидит неподвижно в кресле, а другой носится по всему свету и кричит: «Кому нужна фабрика Зимлера? Кому нужны деньги Зимлера из Бушендорфа?» Дашь ты мне перо?

– Но ведь, – вскричал хромой с неожиданной энергией, – но ведь твоя подпись не сама разгуливает по свету, ведь она не в руках врагов. Твои дети...

– Мои дети – это мои дети. Но кто сказал, что они мои хозяева? Разве я соглашусь дать им больше власти над собой, чем давал мне мой покойный отец?

Потрясенный Миртиль покачивал головой в такт словам брата; свет лампы падал на его пегое лицо, похожее на шашечницу. Он смотрел то на брата, то на хромого. Хромой сделал шаг вперед, бросил безнадежный взгляд в глубину комнаты, как врач, безрезультатно испробовавший все средства. Он положил свою фуражку на край стола и сказал:

– Если из этой доверенности, которую ты дал своим сыновьям, чтобы они действовали от твоего имени, выйдет что-нибудь плохое, – можешь винить во всем меня одного. Я тебе дал этот совет. Но я знаю, что они оправдают твоё доверие.

– Это уж мое дело, Вильгельм. Я знаю моих сыновей лучше, чем вы все, и надеюсь, нам скоро станет известно, как обстоит дело, – отрезал хозяин дома тоном, не допускающим возражений.

И он обернулся к жене, как будто возлагал лично на нее ответственность за долгое отсутствие детей.

– Во всяком случае, – прибавил он, снова достаивая взглядом шурина, – может быть, я и сошел с ума, но во всяком случае я еще не слабоумный. Если я дал свою подпись, я дал ее в здравом уме и твердой памяти. Никто, даже Миртиль...

– Ага! – Миртиль судорожно пристукнул рукой по столу.

– Даже Миртиль еще никогда в жизни не мог заставить меня сделать что-нибудь против моей воли.

Эта отповедь придавила хромого с неменьшей силой, чем паровой каток, утюжащий землю. Он и сам не подозревал, что лучше всякого дипломата сумел укротить гнев старика Зимлера. Тем, что старик во всеуслышание признал себя ответственным за выдачу доверенности, Вильгельм как бы вырвал жало зимлеровской заносчивости.

Но хромой не задумывался над подобного рода тонкостями, хотя прибежал к ним довольно часто, и потому не особенно возгордился одержанной победой. Голос старика Зимлера еще гремел во всех уголках гостиной, и чувство унижительного смирения уже вновь охватило сердце Вильгельма. Он натянул на голову фуражку, которую сам не помнил как положил на стол, и весь согнулся под гневными взглядами братьев Зимлеров.

Когда Сара, не без колебания, поднесла мужу чернильницу и перо, она тоже ответила на робкий взгляд родного брата взглядом нескрываемого презрения.

«Что может Блюм из Тионвиля, – говорил ее взгляд, – понимать в намерениях и решениях Ипполита Зимлера из Бушендорфа? Пусть даже Блюм из Тионвиля мой собственный брат, но стоит ему посмотреть на себя, и он сразу поймет, что Блюмам никогда не сравняться с Зимлерами». Впрочем, Вильгельму не было никакой надобности смотреть на себя, он и так чувствовал, как его всей тяжестью – и физически и морально – подавляют торсы, взгляды и мнения двух Зимлеров.

Даже человек неискушенный понимает, что сутулая спина, хромота, блеклые удивленные глаза с косинкой, неопределенного цвета волосы, впадающие, впрочем, в рыжину, редкие и вечно сальные, нездравилая кожа и глухой голос без малейшего металла – не бог весть какой капитал. Особенно же если это ваши глаза, ваша спина, ваши ноги, ваш голос и если вам сорок пять лет кряду напоминает об этом по любому поводу весь мир.

А весь мир, как известно, в высших своих установлениях и в неиссякаемой премудрости своей не прощает искривления позвоночника и ковыляющей походки и не желает понимать, как пригодились бы ему улыбка этих бесхитростных губ, прячущихся под лукаво добродушным толстым носом, надежность верной спины и братское пожатие коротенькой волосатой ручки с квадратными ногтями.

Итак, Вильгельм Блюм, всем существом ощущавший свои физические недостатки и скованный на редкость нескладным сереньким пиджачком, чувствовал себя сейчас особенно

неловко. Он снова судорожно схватился за фуражку, которую в минуту растерянности положил на стол, и в этот момент подметил, уже не в первый раз, взгляд сестры – взгляд, которым она изгоняла его из мощного клана Зимлеров.

А ведь он носил обручальное кольцо, которое выглядело на его пухлом пальце, как обруч на маленьком бочонке. Это кольцо означало супружество, семью, свою собственную жизнь.

Род Зимлеров был обширен, но сейчас, в эту минуту, трудно было поверить, что принадлежавший к нему смиренный шуринок Ипполита – этот торговец сукном – также имел свой угол. Дело шло к ночи, и если Вильгельм все еще оставался в доме Зимлеров, то делал он это не ради личной выгоды; если он осмеливался заговорить, то не для того, чтобы устроить свои собственные дела; если обстоятельства складывались скверно, то уж во всяком случае не для него, Вильгельма Блюма.

Он пришел сюда один, без жены, чтобы по мере своих скромных сил и возможностей смягчить гнев Ипполита Зимлера, и поджидал вместе со всеми приезда племянников, странствующих в далеком неведомом мире.

Так уж сотворен свет. Удивляться этому могут только пошляки. Умиляться – только слабые духом. Замечать такого рода вещи по меньшей мере излишне. Вильгельм Блюм не обманывался на этот счет.

Но вдруг под чьими-то шагами заскрипел гравий. Вильгельм не мог удержаться и поспешно вытащил из кармана огромные часы. Миртиль резко повернул голову. Рука Сары бессильно опустила на стол чернильницу, как будто чернила вдруг превратились в свинец. Один Ипполит не шелохнулся.

– Еще... еще рано, – пробормотал дядюшка Блюм.

Два резких удара напомнили присутствующим в гостиной людям, что они защищены от всего остального мира только вот этой дверью.

В распахнувшейся двери показалось чье-то лицо с пышными усами и живыми светлыми глазами.

– Все еще ничего нового, господин Ипполит? Добрый вечер, госпожа Зимлер!

Вошедший пригляделся к полумраку гостиной.

– Добрый вечер, господин Миртиль. А-а, и вы здесь!

Это «а-а» повсюду встречало Вильгельма Блюма. Вошедший удостоил его пожатием руки, в котором в точно вымеренных дозах чувствовались фамильярность, покровительство, но одновременно и уважение: Блюм как-никак доводился Ипполиту шурином.

– Как видишь, Фриц, – ответил господин Ипполит, и только середина его неподвижной физиономии чуть дрогнула.

Помолчали. Затем глава дома Зимлеров прибавил:

– Ничего нового! – таким оглушительным тоном, что все вздрогнули.

Фрицу стало неловко, что он выдал свое нетерпение. Он как-то по-детски надул губы под великолепными усами.

– Мы тут думали, может быть, пришла депеша...

Хозяин пристально взглянул на него, углы его губ опустились, отчего все лицо приняло до странности презрительное выражение.

– И он туда же! Запомни, Фриц, если ты хочешь преуспеть в жизни, научись ждать и понимать.

Восхитив этой прописной истиной нетребовательных слушателей, старик Зимлер тут же забыл свой добрый совет. Его брови сошлись у переносицы, как будто для того, чтобы легче удержать в сфере взгляда ничтожную фигуру собеседника, и новые раскаты грома потрясли комнату:

– Фриц Браун, ты и твои друзья – все вы ждете, и, однако, вы сами не знаете, почему вы ждете, не знаете, чего вы ждете. Что вас заставляет ждать? Все должно иметь свою причину,

даже заботы и ожидания. А какие у вас заботы? Если я уеду – здание останется. Какой-нибудь пруссак возьмет себе фабрику, пустит ее в ход и даст вам работу. Ни тебе, ни твоим товарищам незачем беспокоиться по поводу возвращения моих сыновей.

Эльзасец не дрогнул под этим потоком оскорбительных фраз. Он старался придать своей мужественной физиономии самый простодушный вид.

Ипполит Зимлер еще повысил голос:

– Другое дело мне – мне, повторяю, моему брату Миртилю и моей жене. Ты видишь это перо, Фриц?

Как ни был Фриц привычен к самым неожиданным выходкам фабриканта, но сейчас даже он растерялся. Рука – чудовищная, бесформенно жирная рука хозяина протянулась к столу. Она приоткрыла письменный прибор и схватила тоненькую сосновую палочку.

– Смотри, она не большая, не тяжелая. Сколько, по-твоему, требуется времени, чтобы написать свое имя этой ручкой? Раз – и готово. Теперь ты видишь, по какой причине я в этот поздний час жду моих сыновей, сам не зная, где я – у себя дома или нет, фабрикант ли я еще, или я должен все бросить и начинать все сызнова в другом месте. Вот почему я беспокоюсь. Когда слаба голова, нужно, чтобы были сильны ноги. А голова в один прекрасный день сдала, Фриц. Может быть, кое-кто этим воспользовался. Пусть это послужит уроком для всех, кто полагается на своего ближнего.

Раздался слабый хруст. Чудовищные пальцы сделали почти неприметное движение, и обломки ручки отлетели в угол комнаты. Миртиль снова крикнул, еще резче обычного, затем в комнате нависла душная тишина. Низко нагнув голову, Вильгельм тщетно искал в памяти подходящие доводы. Фриц Браун старался скрыть испуг под Наивно-глуповатой миной: он узнал больше, чем мог рассчитывать. Сара взглянула на мужа с мрачным восхищением.

Первым решился прервать молчание Фриц:

– Господин Ипполит, плут он и есть плут, а труженик всегда останется тружеником, что бы ни случилось. Есть люди, которые верят друг другу. Вы говорите – мы слушаем. Вы идете вперед, а мы идем за вами. С вами мы никогда не сбивались с пути. Господин Гийом и господин Жозеф примерные сыновья. Что бы они ни решили, тат; оно, значит, для нас и нужно. Мои товарищи мне этого говорить не поручали. Но я говорю это и от моего и от их имени. Уж поверьте!

При этих словах светлые усы распушились, прямые брови дрогнули, и лицо эльзасца приняло еще более воинственный вид.

А про себя старший мастер подумал:

«Zum Teufel!⁴ Это дьявол, а не человек... Скажешь такое, что и не собирался говорить».

Повернув в сторону Фрица свою застывшую физиономию, Ипполит взглядом приковал его к месту. Блюм внимательно рассматривал свои ботинки. Казалось, черный галстук совсем задушил Миртиля. На долю альты в симфоническом оркестре выпадает нелегкая задача – взволновать слушателя при помощи самых неблагодарных средств. А Зимлеры не любили признаваться в наличии моральных обязательств. И как обычно, на долю женщины выпала эта задача.

Спокойным, размеренным шагом Сара выступила вперед, – именно за эту походку ее прозвали в округе «Королева Зимлер».

Худощавый стан стареющей женщины выпрямился с несказанным достоинством. Лицо, покрытое, словно лаком, легкой желтизной, не выдало затаенных чувств даже движением бровей.

Мудрый закон Востока, ибо он знает человека со дня его сотворения, предусмотрительно принял меры к тому, чтобы женщина оставалась подругой лишь одного мужчины, а не перехо-

⁴ К черту (нем.).

дила из рук в руки, как предмет вожеления и источник распрей. Поэтому-то Сара, на следующий день после свадьбы спрятавшая под чепец свои густые молодые косы, навсегда сокрыла от посторонних взглядов теперь уже поредевшие седые букли. Так поступила некогда ее мать; так, следуя примеру Сары, поступила и ее невестка. Черные шелковые оборки обрамляли виски цвета слоновой кости. А те локоны, что спадали у ушей из-под завязок богатого кружевного чепца, были накладные. Но так как обман родился под знойным солнцем и кокетство поджидало праматерь нашу Еву у врат рая, белая шелковая нитка, простроченная посреди оборок, должна была изображать пробор, разделявший на две половины фальшивое бандо.

Так из поколения в поколение носили женщины траур, оплакивая рассеяние племен.

Только белоснежный полотняный воротничок у ворота черного шелкового лифа да руки, сложенные на животе, – только два этих светлых пятна и оживляли зловещую мрачность одеяния.

Такая женщина, молчаливая, замкнутая, признанная госпожа в доме, невольно приобретает внушительность. В ее присутствии даже тот, кто невысок ростом, становится как-то выше. Под резкой чертой, пересекающей лоб, по обе стороны длинного крючковатого носа Фриц Браун увидел два блестящих глаза, смело смотревших на него. Бархатистый взгляд, но где-то в глубине горящих зрачков – далекие воспоминания, насмешка над сегодняшним днем, сожаление об ушедших временах, мучительное спокойствие сердца. Какие-то свои давно утвердившиеся понятия, вопиющая невежественность, точное знание своих возможностей, мужество и одновременно покорность. Этот взгляд до времени познавшего мир ребенка, ничего не познавшей матери и старухи насмешницы лишил эльзасца его мужской самоуверенности. И он невольно вспомнил крылатую фразу, ходившую по Бушендорфу: «Не дай бог попасть на язык Ипполиту или под обстрел глаз его супруги, – пляши тогда под их дудку».

– Мы переживаем тяжелые минуты, Фриц Браун. Но вы вашими словами смягчили горе мужа. Такие вещи не забываются. Вы сами видите, в каком мы положении. Вся наша жизнь поставлена на карту. Но если вы и ваши друзья...

«Ну, брат, держись», – подумал старший мастер.

– ...раз вы с нами, чего же мне тогда бояться возвращения сыновей.

Браун почувствовал себя так, точно на шею ему накинута удавку.

– Если мы все – все сорок человек то есть – с женами, детьми и нашим скарбом не отправимся вслед за вамп, лучше мне тогда последним подмастерьем работать.

«Чего же ты ждешь?» – тут же возразил первому второй Браун. И вот ведь что удивительно: старуха от души говорила.

Но к великой досаде этого второго, внутреннего, Брауна, тот, первый Браун, посланный на дипломатическую разведку, вдруг разошелся:

– Почему бы вам не пройтись по Бушендорфу, господин Ипполит? Ни одного пруссака не встретишь, они заваливаются спать с петухами. Ей-богу же, небольшая прогулочка будет вам куда полезнее, чем это сидение да порча нервов. Вы увидите, что в городе у многих горят свечи. А свеча, она, знаете ли, горит у хороших людей. Неужто вы думаете, что мы вас так просто отсюда и отпустим? Одно дело – немецкий хлеб, другое дело – французский. Пусть сюда приходит пруссак; если ему нужны рабочие, пусть привозит с собой. Мы всю жизнь выпускали зимлеровское сукно, а сукно Зимлеров – это французское сукно. Старик Германн уже заложил четыре столовых прибора, а они чистого серебра; Готлиб с Готлибихой всю свою мебель продали; Пуппеле – тот у соседей теплое пальто и меховые ботиночки для своего малыша призанял; Майер уже с полудня на вокзал забрался – хочет первым их увидеть. Пройдитеесь-ка по Главной улице: у каждого окна люди сидят – и Бауманы, и Хаузеры, и Каппы, и Зеллеры и Франки, – потому что скоро десять, а в десять из Мюльхаузена прибывает поезд. Всем охота поскорее собраться и приготовиться к отъезду, если молодые хозяева дадут нам сигнал к отправке. Сегодня у нас вроде как бы мобилизация. Война, быть может, и закончилась в неко-

тором смысле, но, с другой стороны, она еще только начинается. РІ хоть сам я эльзасец и в Эльзасе родился, клянусь вам, только тогда вздохну свободно, когда уберусь отсюда к чертям собачьим, извините за выражение.

«Клянусь честью», откуда только у «него» все это берется?» – подивился первому Брауну второй. Губы Сары дрогнули, она протянула руку. Но тут Миртиль решил, что настал его черед завершить беседу какой-нибудь сугубо мужской репликой. Он обернулся к брату своим трехступенчатым профилем:

– Теперь ты сам видишь, что снова наладить дело будет не так уж трудно!

И Браун со вздохом убедился в том, что уже давно знал: Зимлеры любого обойдут, как малолетнего ребенка.

VIII

Конечно, мать на тысячу ладов представляла себе сцену возвращения сыновей, но когда наконец дверная ручка беззвучно повернулась и заскрипела, как бы говоря знакомым голосом: «Это я! Что случилось?» – глаза Сары впились в дверь, и у нее перехватило дух.

Дверь отворилась бесшумно, даже не взвизгнув в петлях. Сначала показался угол черного запыленного саквояжа. Послышался вздох. Четверо мужчин один за другим (первый Вильгельм, а потом и Фриц Браун) поняли, что произошло нечто важное. Вошел Гийом Зимлер, вслед за ним появился Жозеф под запоздалый лай соседской собаки.

– Уф! Добрый вечер!

Последующую сцену лучше было бы обойти молчанием. Вряд ли уместно описывать во всех подробностях не знающую границ материнскую нежность и ребяческое поведение ее двух взрослых сыновей, покрытых дорожной пылью.

Радости дяди Вильгельма хватило бы на десяток родственников, так бурно он восклицал: «Ну что за мальчишки! Это же прямо молодцы!» Между тем дядя Миртиль, не созданный для таких необычных положений, обратил к окошку свои мощные надбровья и властно потребовал от Фрица Брауна объяснений: каким это чудом нынче вечером гравий не заскрипел под ногами путешественников?

– Где же? Где? – вполголоса спрашивал Вильгельм, пожимая руки племянникам. Но ни тот, ни другой не снизошли до ответа. Однако участники этой сцены поняли, что проявления радости, даже столь затянувшиеся, еще недостаточны для того, чтобы разрешить все деловые затруднения. Уже одно присутствие Ипполита было способно иссушить источники самых благородных излиятий.

Он не протянул руки сыновьям, даже не кивнул им, только кирпично-красное лицо его вдруг стало желто-серым, что не предвещало ничего доброго. Рот беззвучно задергался, и время от времени отечный указательный палец тыкал в сторону новоприбывших.

Он хрипло дышал, как потревоженный бык, – чем обычно давал знать о своем намерении вступить в разговор. Мгновенно воцарилась тишина. Гийом тер себе лоб, и носовой платок чернел от каждого прикосновения к закопченному лицу. Он подошел к столу.

– Добрый вечер, отец.

– Ну? – спросил отец. Он ждал не того.

Гийом говорил тем же взволнованным, твякающим голосом, как и при позавчерашнем объяснении с сердечно-больным маклером.

– Отец, есть новости.

– Ну? – переспросил отец, но уже другим тоном. Жозеф поправил дужки очков и поспешил на выручку к брату, однако счел благоразумным избрать более безопасный путь наигранной беспечности:

– Имею честь говорить с господином Ипполитом Зимлером, владельцем суконной фабрики в Вандевре...

– Где?! – переспросил Ипполит: крик, казалось, еще раньше набухал у него в груди.

– В Вандевре, это на Западе... – вмешался Гийом, пожирая отца глазами.

– В Вандевре?

– В Вандевре!

Торжествующее восклицание Вильгельма Блюма пропало, заглушённое скептическим возгласом Миртиля, который, постучав ладонью по столу, прибавил безнадежным тоном:

– Так я и знал, так и знал!

Ипполит подался вперед всем телом:

– Значит, там, там вы...

Гийом утвердительно кивнул головой. Жозеф, веря в непогрешимость своей тактики, снова поправил очки и снова доверительно нагнулся к отцу:

– С владельцем суконной фабрики в Вандевре и хозя...

Он не закончил фразы. Отец вскочил. Кресло с грохотом упало на пол, протянув к лампе свою изодранную холстинную обивку и четыре колесика. Старик был выше на голову всех своих родичей.

– Так вы ку-пи-ли?

– Ага!

– Да, мы... купили, – пробормотал Гийом посеревшими губами и впился глазами в отца.

Он полез было во внутренний карман за бумагами, но Жозеф остановил его.

– Мы не имели времени запросить вас депешей... Надо было... надо было решать тотчас же. И всякий другой на нашем месте... клянусь...

Когда адвокат, произнося речь, взывает к публике, значит, дело его подзащитного плохо. Жозеф призвал в свидетели лихорадочно блестящие глаза своей родни.

– Надо было... – начал Миртиль.

– Так вы... купили? – снова заорал фабрикант. И наконец вопрос, последний, решающий вопрос сорвался с его губ, и седые бакенбарды затряслись:

– А за сколько?

– Успокойся, папа! Мы блюли твои интересы. Мы уверены, что поступили правильно, – сказал Жозеф покорным, наигранно простодушным тоном.

– Разберемся по порядку. Мы ехали затем, чтобы найти фабрику. Ведь таково было ваше намерение, не правда ли? – перебил его Гийом.

Жозеф с преувеличенной поспешностью нагнулся над черным саквояжем.

– Взгляни сначала на планы и скажи, какую цену ты бы дал за эту фабрику?

– Случай редчайший, дядя Вильгельм, – подхватил Гийом, решив извлечь пользу даже из присутствия Блюма. Но логика отца – увы! – не походила на те глыбы, которые, будучи раз сдвинуты с места, могут в дальнейшем направляться простым движением руки.

– За сколько купили?

– Сейчас узнаешь, взгляни сначала на планы, – озабоченно повторил Жозеф.

– Ответь ему, – шепнула мать.

Но гнев старика Зимлера уже не знал удержу. Он обвел гостиную взглядом, дико захрипел, шея у него налилась кровью, и он завыл, сопровождая каждый слог выразительным ударом кулака о стол:

– За сколько ку-пи-ли?

Все, что могло дребезжать, задребезжало – и стекло и металл. Гийом, вытянувшись, стоял перед отцом, пустой, как ножны сабли. Он беззвучно шевельнул губами раз, другой и выдал наконец несколько звуков, необходимых для того, чтобы получились следующие слова (только тут он впервые понял чудовищный смысл этих слов во всей их совокупности):

– За двести тысяч франков.

– Ипполит! – вскричала Сара, бросаясь к мужу.

Глядя на Миртиля выкаченными глазами, в которых не было ничего человеческого, старик повторил:

– Zwei Hundert!.. Gott im Himmel!.. Myrtil, alles, alles...⁵

Затем ноги его подкосились, он шагнул, хотел было сесть, зацепился за ножку перевернутого кресла и рухнул между креслом и столом, рыча, как сраженный насмерть зверь.

⁵ Двести тысяч! Господи боже! Миртиль, все, все... (нем.)

IX

И все же не каждый, кто хочет умереть, умирает. «Гиппопотам», как звали старика Зимлера в семье Альтерманов, был сколочен на редкость прочно. Но ведь кто не знает, что все Альтерманы смешанных кровей: еврейской и немецкой.

– Надо поставить ему пиявки... Он слишком зажил, – заключил Фридрих Альтерман, выколачивая фарфоровую трубку. Альтерманы перешли в прусское подданство. Одним конкурентом меньше, меньше одним долгом соседу – ну как тут не позлорадствовать?

В гостиной поставили кровать. Но «Зимлеры и болезнь – две вещи, друг друга исключают», – как любил повторять для собственного своего успокоения покойный Дедушка Мойша Герш Зимлер, бывший тамбурмажор наполеоновской гвардии.

Не прошло и двух суток, а уже во всех этажах дома под каблуками старика снова затрещали половицы и за всеми Дверьми неожиданно раздавалось его гулкое пыхтение.

Всякого другого после такого удара разбил бы паралич, во старик Зимлер отделался пустяком – у него отнялось левое веко. И если в течение недели он не совсем внятно произнес некоторые слова, то и это было сущим пустяком, принимая в расчет его буйный нрав.

– Гиппопотам в бешенстве! Спасайся кто может! – посмеивался Альтерман, жадно прислушиваясь к тому, что делалось у соседей. Его сад примыкал к зимлеровскому саду. А кузен Яков Штерн бегал от своего дома к зимлеровскому и сокрушенно повторял:

– Почему не послушали Сару? Женщины разбираются в таких вещах. Ипполит скорее даст себя убить, чем сядет в поезд!

Но пока что Ипполит убивал своих домашних, не щадя никого. Как-то в коридоре Жозеф схватил отца за рукав, – голос его мог смягчить даже камень:

– Папа, да ты хоть посмотри!

На столе блестела голубоватая калька с планами. Отец грубо вырвался от Жозефа и снова зашагал по дому. Первое его слово, с которым он соизволил обратиться к сыну, было:

– Ты сказал, за двести десять тысяч?

– За двести. Да!

– Ну, так у меня их нет! И я их не дам!

Старик ушел. Целых три дня он твердил: «Ничего не дам! Не дам!»

Но всему бывает конец. Три дня и три ночи непрерывного шагания и вздохов в одно прекрасное утро привели Ипполита в столовую.

Подбородок и щеки его густо заросли щетиной. Бакенбарды стояли дыбом; густые брови лезли в налитые кровью глаза, левый был полузакрит. В поредевших седых волосах стального отлива застрял пух от подушки. Концы расстегнутого воротничка свисали на мясистый подгрудок. Сюртук коричневого сукна, измятый, кое-как застегнутый, свободно болтался на груди и опавшем животе. Ипполит, видимо, выбился из сил. Но неистребимая злоба пересиливала слабость.

Раскаленный июльский воздух был наполнен жужжанием насекомых. Вся семья, собравшись в полутемной столовой, беседовала вполголоса, поджидая хозяина.

Его появление вызвало переполох. Сара, не ложившаяся с того рокового вечера, бросилась к мужу. Он отстранил ее властным движением руки. Однако она успела поправить завернувшийся бархатный воротник его коричневого сюртука. Всякие предисловия были излишни.

– Мы тебя ждали, – просто сказал хромой. Он, по обыкновению, не снял фуражки. Но еще одна нежнейшая его улыбка пропала даром.

– Не дам! Ничего не дам! – возвестил жирный голос, идущий откуда-то сверху, из самого темного угла.

Кузен Яков Штерн – его тоже призвали на семейный совет – счел нужным вмешаться.

– Ну хорошо, хорошо! За показ денег не просят! Ты сначала посмотри, а потом подумаешь на досуге.

Кто-то из сыновей Зимлеров добавил:

– Мы готовы, отец, дать самые подробные объяснения.

– Покажите, да поскорей. Потому что должен же я знать...

Кто-то распахнул ставни. Но Сара тут же затворила окно: осы наперебой зажуужали на самой мрачной своа ноте.

Начались великие прения. Отчаяние младших Зимлеров смешало в первобытном хаосе, способном поглотить всю вселенную, и фальшивые бриллианты на пальцах маклера, и «домик для одинокого привратника», и толстые балки фабричного корпуса, и бесконечные цехи ткацкой мастерской, залитые ослепительным светом труда, и ту стену, поначалу не слишком длинную, которая волей человека в коричневой паре стала вдруг нормальной длины.

Жозеф поспешил отгородиться от этого хаоса своим дециметром. Головы нагнулись над планом. Сначала были названы цифры, потом пошли – капиталы, проценты, сроки платежей, взносы наличными, платежи в рассрочку, рабочая сила, площадь и перспективы сбыта. Складной дециметр плясал как бешеный по полотняной кальке. Потные пальцы скользили по белым линиям, очерчивая границу строений.

– Так, так, приговаривал дядя Блюм, и с каждым разом эти слова звучали все увереннее, как бы возводя в воображении чудесное здание будущего; пассив, как и положено, переходит в актив, и первоначальные долги самым блистательным образом оборачиваются огромными доходами.

Уроженец Эльзаса по натуре своей флегматик, и словарь его не особенно богат, зато, произнося на свой лад какое-нибудь слово, он не только подчеркнет все оттенки смысла, но и сумеет намекнуть на многое. Подчас он может так распалиться, что сам будет на себя не похож, станет чуть ли не бесноватым.

Поэтому пятеро эльзасцев увидели сквозь цифры и чертежи мечту, не имеющую ничего общего с сухими расчетами и точными суммами.

Однако добрая половина израильского племени долгие века имела слишком близкое касательство к золоту и в конечном итоге выработала на сей счет такую жесткость, перед которой обычные требования точности кажутся мягкими. За неимением прочих гражданских добродетелей Зимлеры унаследовали боязнь любого риска, передававшуюся по мужской линии из поколения в поколение.

Гийом, покусывая усы, слушал речь брата. Теперь он всем своим нутром осуждал авантюру, ответственность за которую нес вместе с Жозефом. Он молчал, но жадно ловил малейший оттенок чувств, пробежавших по лицу отца. Он остро ощущал свое сходство – единственную свою связь – с этим нелюбимым человеком, и отвращение к самому себе, к жизни наполняло его душу. Он ждал, чтобы уста несправедливого высказали то, что должен был бы изречь праведный.

Старик думал недолго.

– Ладно. Уберите-ка все это прочь!

– Ипполит! – не сдержавшись, вскрикнула Сара.

Кузен Яков Штерн переминался с ноги на ногу, не в силах отвести глаз от бумаг.

– Не так уж плохо! Все не плохо, – бормотал он.

– Так как же, папа? – произнес довольно резко Жозеф. Он растерялся.

Ипполит, собиравшийся уже выйти из комнаты, остановился. В первый раз за эти три дня он почувствовал, что достаточно владеет собой и может взглянуть сыновьям прямо в лицо.

– Давай кончим это дело, сынок. Ты настаиваешь, но ты не прав. Я хочу сказать тебе одну вещь: моя фабрика, постройки и оборудование – правда, оборудование устарело – стоят шестьдесят – семьдесят тысяч; продать ее можно тысяч за сорок, если не за тридцать. Товаров

на складе и в мастерских тысяч на восемь. Значит, будет примерно сорок пять тысяч. Нам должны три или четыре тысячи. Получается сорок восемь тысяч. Но и мы должны уплатить поставщикам две тысячи восемьсот. Остается сорок шесть тысяч. Дом с садом до войны стоили двадцать пять тысяч. Нынче за них от силы возьмешь двенадцать. Получается, пятьдесят восемь тысяч. В банке на счету Миртиля, Сары и моем (при последних словах старик запнулся) восемьдесят пять тысяч, что составляет... что составляет... сто сорок три тысячи; округляем – сто сорок пять, а точнее – сто сорок. Теперь вычтем эту сумму из двухсот десяти тысяч, остается семьдесят тысяч франков. Когда вы с братом уезжали, я имел сто сорок три тысячи капитала, а теперь, после вашего возвращения, у меня семьдесят тысяч долгу.

Вся семья в благоговейном трепете выслушала это «имел». Оно приоткрыло тайну троицы, состоявшей из двух старших Зимлеров и жены одного из них. Но надо признаться, старик Зимлер умел рассуждать здраво. И он продолжал, незаметно для самого себя повышая голос:

– Если когда-либо кто-либо из нашей семьи входил в долги, он делал это для спасения своей жизни и своего дела, но бросать деньги ради удовольствия и клянчить их потом на стороне, чтобы восполнить растрату, – этого никто из Зимлеров еще не делал. Значит, кто же из нас сумасшедший? Уехать отсюда – я согласился, послать вперед своих сыновей – я согласился. Я даже согласился подписать доверенность. Но выслушай меня, Жозеф!

Его губы морщила презрительная усмешка, как морщит морскую гладь нос судна, идущего на всех парусах. И то, что он сказал, стоило выслушать.

Что такое, в сущности, Зимлеры? Это фабрика, это имя и честь фирмы. Даже Дольфус не нашелся бы что возразить. Но Зимлеры, оказывается, – это нечто еще большее. Зимлеры ничего ни от кого не просят, расплачиваются по долговым обязательствам до срока и помогают единоверцам. И если Зимлер пишет в правление местного банка: «Податель сего человек честный; дайте ему ход, я, Ипполит Зимлер из Бушендорфа (Верхний Рейн), за него ручаюсь», – это стоит миллиона.

Так Зимлеры ширились, принимая все новые и все более грозные ипостаси. Сюда (не считая Миртиля) входили: достойная мать двух недостойных сыновей и воспоминания о целом поколении почивших фабрикантов, деятельных и настойчивых при жизни, а также такие отвлеченные величины, как сделки по закупке шерсти и продаже сукон, как заработная плата, кормившая якобы весь Бушендорф, – словом, все, что так или иначе относилось к фабрике из белого камня, укрытой каштанами.

Эти гортанные звуки, как деревянные клинья, врезались в безмолвие гостиной. Тут же, без всякого перехода, присутствующие узнали, что лицо на то дано человеку, чтобы краснеть от стыда, но не ему, старику, приходится сейчас краснеть. Что взрослый человек благоразумнее ребенка, но что ребенок искреннее взрослого и что сыновья Зимлера не обладают вышенными достоинствами. И наконец – в ту минуту, когда бакенбарды Ипполита зашевелились и окружающие услышали первые скрежещущие звуки слова «разорение», – смерч, которого с трепетом ожидали те, кто знал нрав старика Зимлера, грянул и смял их.

Тут не было уже ни владельца фабрики, рассуждающего о делах, ни отца, наставляющего своих сыновей. По гостиной шагал злобно высмеивавший всех старик, грузно переставляя раздутые подагрой ноги, скрытые, как чехлами, широкими клетчатými панталонами, и паркет трещал под его тяжестью. Шагала обезумевшая туша. Зимлер защищал то, что он полагал смыслом своей жизни, и разил направо и налево ряды своих врагов.

– Купили! Купили! А по какому праву? Отвечайте же! Не желаю иметь с вами ничего общего! Убирайтесь вон! Доверенность, доверенность! А что было написано в доверенности? Там черным по белому написано: «арендовать», а не покупать. Убирайтесь вон! Вы не мои сыновья! Я остаюсь здесь; предпочитаю быть платежеспособным пруссаком, а не разорившимся французом! Если я захочу – вы слышите? – я могу подать на вас в суд, на всех вас и

на тебя, Блюм, в том числе! Достаточно одного моего знака. Вон! Вы... мошенники... вы... Миртиль... Миртиль!

В эту минуту вошел Миртиль. Его трехступенчатая физиономия, подпираемая мощной челюстью и жестким, как ошейник, галстуком, оповещала всех и каждого, что обладатель такой внешности не может быть натурой нерешительной.

Гиппопотам резким движением схватил его за руку. Сходство двух братьев бросалось в глаза даже вопреки их физическому различию. Миртиль чувствовал, как отекавшие пальцы Ипполита, подобно барабанным палочкам, судорожно колотят по его плечу. Он обвел всех присутствующих быстрым прокурорским взглядом и остановил его на старшем племяннике, которого объял нечеловеческий ужас. Губы и подбородок Гийома вздрагивали в такт с веками, он весь с головы до ног трясся мелкой дрожью: он понял, что разум завлек его в стан неправедных. Стоя по другую сторону стола, Жозеф огромным усилием воли приковал свой взор к углу буфета, глаза у него горели, как будто он сидел на скамье подсудимых, он старался подавить гнев, сгибая в дугу складной дециметр. Сара молча держалась в стороне, зная, что еще не пришел ее час.

– Что это такое у вас происходит? – задал Миртиль вопрос, по меньшей мере излишний.

Тут-то и показал маленький Блюм величие своей души. Он сам это почувствовал и никогда уже не забывал. Если кому-нибудь пришло бы в голову составить его биографию, Вильгельм Блюм вписал бы в нее эту блестящую страницу без ложной скромности и сумел бы добавить еще пару лестных для себя подробностей.

Глаза его горели какой-то неземной верой в свою правоту, и улыбка, предшествующая словам, доказывала его чистосердечие. Начал он негромко, но мало-помалу его приглушенный голос окреп и зазвучал с такой силой, какой редко удается достичь тому, кто всю свою жизнь ходит в шуринах у сильных мира сего. В тот день его родные узнали (назавтра они об этом забыли), что хромоножка не зря прожил свой век и что по части проницательности он мог дать десять очков вперед даже старосте парижских биржевых маклеров, который, как известно, является самым тонким дипломатом во всей Западной Франции.

Как бы то ни было, но, прежде чем присутствующие успели опомниться, маленький Блюм уже пустил в ход такие великие понятия, как «производство», «коммерция», «транспорт», «кредит», и начал играть ими, будто мальчик мячом.

Дядя был краток, да оно и к лучшему. Ибо доводы его, если учесть все обстоятельства, были довольно-таки скользкие. Так, он утверждал, например, что долг – смерть для отдельного коммерсанта, но жизнь для коммерции; что кредит разоряет человека и питает общество; и еще: что ничто так не тормозит производство, как застой капитала; что промышленность только тогда начинает работать нормально, когда имеется приток денег извне, что вкладывать капитал в сто сорок тысяч франков в фабрику стоимостью двести тысяч франков выгоднее, нежели вложить двести тысяч капитала в дело, которое при ликвидации даст сто тысяч, – короче, в немногих словах он набросал такую смелую экономическую теорию, что сам первый испугался и забил отбой.

С ласковой, простодушной улыбкой, покачивая головой, он подбадривал своих слушателей. Он благополучно миновал грозные «как бы не так» и «мы еще посмотрим» обоих старших Зимлеров, равно как и зловещие вздохи, не предвещавшие ничего доброго, и уверенно пустился плыть в новом направлении, несколько отличном от прежнего.

Здесь-то он и достиг апогея. Чрезмерно строгая логика могла бы отпугнуть слушателей, а посему дядя Блюм, заманив Зимлеров в силки своей софистики, так их запутал, что сами они уже не могли понять, о чем шла речь и с чего начались споры.

Вильгельм признал, что младшие Зимлеры действительно превысили свои полномочия, но сделали это ради того, чтобы извлечь из создавшегося положения непредвиденную выгоду. Заплатить в течение пятнадцати лет семьдесят тысяч франков куда легче, чем вносить ежегод-

ную арендную плату в пятнадцать тысяч. Все дело в том, чтобы отыскать новые оборотные средства. В мгновение ока маленький Блюм уничтожил всякое различие между собой и главой временного правительства. В ту пору еще не подымался вопрос о законе, который был принят только позже и по которому республика давала беспроцентные ссуды на первое обзаведение жителям Эльзас-Лотарингии, переселявшимся во Францию. Торговец сукном бесстрашно изобрел этот закон, сам его сформулировал, сам принял единогласно. Он вторгся в столбцы цифр, воздвигнутые воображением Жозефа, удвоил, а затем и учетверил расчеты своего племянника, сославшись на работоспособность Зимлеров и приняв во внимание их предприимчивость. В конце концов он опрокинул все доводы Жозефа и выдвинул собственную гипотезу, покоящуюся на довольно шатком основании уплаты в рассрочку.

Первый раз в жизни хромоножка так долго и много говорил. В первый и последний раз. Но вдруг голос его задрожал: Вильгельма испугало удивленное внимание слушателей. Шум голосов покрыл его последние слова. От Блюма-героя осталось только некое подобие неземной улыбки да заключительный жест глубочайшей убежденности: широко разведенные ручки, открывшие во всей красе неопишумый серый пиджак.

Перед Зимлерами стоял прежний дядя Блюм, и весь его облик весьма красноречиво доказывал его полнейшую неспособность разбогатеть, хотя бы с помощью одного из только что предложенных им способов.

– Я не понимаю тебя, Ипполит. Ведь это так просто, – сказал Абрам Штерн, собирая морщины, которые, как сеткой, покрывали его розовое лицо.

– Быть может, это просто для тебя, Абрам, – отрезал Миртиль.

Но Абрам, взглянув на него поверх очков, благодушно продолжал:

– Не понимаю, что ты хочешь этим сказать, Миртиль. Я закрыл свою контору в Тюркгейме, теперь я уже не нотариус прусского короля, а пруссаки возместили мне убытки только в размере одной трети, так как мы приняли французское подданство. Не знаю, удастся ли мне завести с такой суммой дело во Франции. Сын мой Ламбер убит при Гравлоте, у меня теперь остался только один Вениамин. Он не может вернуться на оккупированную территорию, он ждет меня в Париже, и у него нет ни гроша. Не знаю, что со мной будет. Да, я считаю, что это просто, Миртиль. Но я не вижу, почему твое положение сложнее моего, не понимаю, почему выбор моих племянников не заслуживает доверия. Видите ли, друзья мои, настал час, когда все становится простым, потому что, если бы мы вдруг увидели вещи такими, каковы они есть в действительности, нам надо было бы плакать, не осушая глаз, до самой нашей смерти.

Нотариус поджал свои бритые губы и издал горлом странный звук, похожий на икоту.

Его брат Яков поднялся со стула с таким усилием, как будто ему немедля предстояло пуститься в путь навстречу неведомой судьбе. Он был ниже Ипполита и, проходя мимо старика, похлопал его по руке и мягко сказал:

– Да успокойся же, Ипполит. Ты ведь поедешь вместе со всей семьей. А вот у меня, кроме него, никого нет.

И вдовец указал на Абрама, который сидел в креслах, погруженный в какие-то свои стародавние воспоминания. Ипполит упорно молчал. Вдруг он круто повернулся, вышел из гостиной, и когда Сара прошла за ним в спальню, весь дом на долгие часы наполнился хриплыми рыданиями и нежным женским шепотом.

Вечером того же дня умиротворяющая тишина залегла на улицах Бушеидорфа. Как повелось за последние недели, в домах еще долго горели свечи. Но на сей раз они освещали необычную картину. Люди – вернее, тени людей – суетились вокруг наваленных сундуков и узлов.

И так как человек не может жить только надеждой на барыш, впервые за целый год в ночной тиши раздались звуки флейты. Это играл, не зажигая света, Жозеф в своей крошечной комнатке под самой крышей.

Окно было распахнуто настежь; сначала оттуда робко вылетали разрозненные ноты, но вот звуки, словно нерешительные танцоры, закружились, взявшись за руки, в хороводе; мелодия шла теперь непрерывной закругленной линией, она спадала, вновь подымалась и устремлялась вперед, по-военному отбивая такт. Теперь это была уже не линия, а скорее гирлянда. Она то свивалась, то распрямлялась, следуя ритму мелодии. Чистый звук без плоти креп с каждой минутой. Он сливался с трепетом рябин, пробирался в самую сердцевину теней, вовлекал их в свою гармонию. Он был в неестественно ярком блеске Венеры, в мерцании Марса, в молчаливом движении Большой Медведицы, в свечении Арктура, в черных струях речушки, бегущей по каменистому ложу, и в дыхании ветра, игравшего кудрявыми ветвями лозняка.

Флейту Жозефа слышал теперь весь город от края до края.

– Сегодня наш Жозеф может спокойно играть, – сказала девушка в доме Фрица Брауна и замерла перед шкафом, откуда она вынимала стопки белья, пахнувшего лавандой.

Трепетал даже воздух. Сама вечерняя прохлада преображалась в далеких звуках флейты. Грудь ширилась, слезы медленно катились по щекам, и люди дрожащими губами впивали их горькую сладость.

Но равнодушная и к людским печалям, стихавшим под ее звуками, и к шумным людским радостям, сменившимся внезапно спокойным созерцанием, песня все лилась и лилась, будто хотела достичь только ей одной доступного совершенства, и душе музыканта, чтобы высказать себя, хватало языка искусства. Никто не требовал большего. Красота взволнованной мелодии отвечала противоречивым чувствам бодрствующих сейчас людей.

Так Жозеф и не узнал многих из тех, кто слушал той летней ночью звуки его флейты, последний отголосок родной долины. Но прежде всего песня искала отклика в неведомых глубинах, называвшихся душой Жозефа, которую не успел еще задушить мелочный ход жизни.

Поскольку и впрямь мир существует не для одной лишь наживы, Гийом Зимлер в тот же самый час отправился за женой – молодой, преждевременно поблекшей женщиной, в обществе которой всякий раз обострялось то чувство ужаса, которое вызывала в нем жизнь и он сам.

Гермина поджидала его у тети Бабетты, супруги дяди Вильгельма, в трех лье от города, в предместье Кольмар. Гийом приехал туда около полуночи. И с первого взгляда понял все. Ему хотелось никогда сюда не возвращаться. Ему хотелось, чтобы все разом исчезло и растворилось во всеобщей горечи.

Гермина стояла под единственным фонарем, освещавшим железнодорожную платформу; детей она держала за руки. Это была не крупная, но топорно сложенная женщина. Она улыбалась своей вечной, несколько вымученной улыбкой, которая, казалось, навсегда застыла в чертах ее лица с нежной девичьей кожей. Улыбалась, еще не видя мужа, – потому что ждала его, потому что утомилась, вглядываясь с покорным вниманием в полумрак, и еще потому, что жизнь вышколила ее, сделала благоразумной и безропотной.

И все же она была взволнована. Если бы Гийом приложил руку к ее сердцу, он услышал бы учащенное его биение. Но подобные мысли не приходили ему в голову. Впрочем, Гермина улыбалась не от радостного волнения.

Гийом расцеловал жену в обе щеки, нагнулся к ребятишкам – мальчику и девочке – и слегка пощекотал усами сонные личики, жавшиеся к его плечу. Они вышли на дорогу. Гийом не переставая твердил:

– Ну, здравствуйте, здравствуйте! Как дела? Так поздно, а вы еще не спите. Не замерзли?

Тетя Бабетта из деликатности удалилась еще до прихода поезда. Накрытый стол гнулся под тяжестью пирогов, ливерной колбасы и гигантского, горячего кугеля. Гийом рассеянно взглянул на все эти приготовления, зато дети, окончательно проснувшись, не сводили глаз с лакомств. Он потребовал, чтобы Гермина немедленно уложила детей. После чего ей пришлось удовлетвориться весьма кратким отчетом о происшедших событиях. Она впивала каждое

слово медлительного рассказа, не умея вызвать мужа на дальнейший разговор. Гийом избегал глядеть на жену.

Вскоре они очутились рядом в узкой кровати. Ее прекрасные белокурые волосы, скромно заплетенные в косы, касались его плеча, но он и не думал притронуться к ним. Да она и сама забыла, когда он это делал. Гийом поцеловал ее в лоб, Гермина ответила поцелуем в щеку. Он заснул, а она долго еще ворочалась без сна на супружеском ложе, вспоминая рассказы мужа.

Нельзя сказать, чтобы Гийом не любил жену. Он даже не допускал мысли, что какая-то другая женщина могла стать его женой. Но он принадлежал к той породе людей, которые носят в своих костях и в своей плоти проклятие костей и плоти, Гийом вовсе не был черствым, отнюдь ет. Слушая музыку, он плакал. Он знал несколько забавных историй и любил при случае их рассказать. Но он был чадом того племени, которое бросило Иова на его гноище. Разница между ним и его предками была, пожалуй, только в том, что самый роскошный дворец принес бы ему не больше радости, чем это пресловутое гноище.

На работе ему не оставалось времени, чтобы размышлять о своем страхе перед жизнью. В это русло он направлял все чувства. Осознай он их, ему не осталось бы ничего другого, как повеситься на толстом суку каштана перед фабрикой. И жизнь, которая все умеет повернуть к своему конечному торжеству, извлекала из этого одержимого хандрой человека такой силы энергию, какая и не снилась самым жизнерадостным натурам.

Флейта Жозефа по-своему отвечала Гийому, который в трех лье от Бушендорфа терзался отращением к жизни. Причины – различные, результат – один. Что же, быть может, правы в своем недоверии джентльмены из Коммерческого клуба в Вандевре. Ибо, следуя какому-то неизученному закону, люди типа Зимлеров если уж строят, так стараются строить прочно.

Х

– Ради всего святого, Пьеротэн, окна, окна!

Тридцать выхоленных джентльменов испытывали всем своим нутром и даже кожей глубочайшее удовлетворение при мысли, что они находятся в комфортабельном помещении и что их отделяет от всего остального мира хрупкий, но зоркий заслон зеркальных окон.

Когда от заблаговременно затопленных каминов по гостиным идет блаженное тепло, как приятно сознавать, что там, за стенами, Вандевр вступил в единоборство с туманом. Звон луидоров на зеленом сукне и тихое посвистывание газовых рожков сливаются в очаровательную гармонию для того, кто трудится весь день во славу чистогана.

Но через полуоткрытое окно в комнату вдруг проникли шумы, которые не приличествует слышать членам подобного клуба, – стенание осеннего дождя, того затяжного дождя, какой бывает только на западе Франции, и пыхтение ткацких фабрик. Вот почему в клубе раздается единодушное:

– Ради всего святого, Пьеротэн, окна!

Злополучный Пьеротэн не нуждается во вторичном напоминании. Он бросается закрывать ставни.

Хотите узнать, в порядке ли содержит хозяин свой дом? Проверьте окна. Если обе створки беззвучно и плавно ходят в петлях и совпадают математически точно, как хорошо отрегулированные части машины, знайте, что архитектор рассчитывал, как говорится, с запасом, а мастера поработали на совесть.

Пьеротэн захлопнул окно, и ни одно стекло не звякнуло в затвердевшей замазке рам. Тяжелые занавески, казалось, только и ждали этого жеста, чтобы лечь безукоризненными складками красного штофа. Теперь октябрь мог сколько ему заблагорассудится морщить меловое, серое небо или исподволь душить город периной своих туманов, – ни одно дуновение не осмелится шевельнуть золоченые кисти бахромы. Господа коммерсанты под надежной кровлей, и они знают это.

– В такую погоду только и переезжать, – заявляет юный Потоберж, как бы подводя итог общим мыслям.

– А кто-нибудь их видел? – осведомляется старец, утонувший в кресле стиля елизаветинской эпохи.

– Сейчас пришел Булинье. Он, конечно, все знает. Ах, Булинье! Дражайший Булинье!

Входит Булинье, вытирая влажные усы; на щеках у него лиловые пятна, – он замерз.

– Вот и наш уважаемый коллега! Держу пари, он до отказа набит сплетнями, – заявляет Лефомбер («Шевалье-Лефомбер». Ткацкая фабрика).

– Булинье, милый мой, вас прямо распирает от новостей! Мы вас слушаем, – восклицает Морендэ (Морендэ и компания. Бельевая фабрика), скрестив перед камином ноги на манер римской десятки.

– Ваши друзья уже приехали, дорогой Булинье? – снисходит старец, утонувший в кресле. Никогда в жизни Булинье не удостаивали такой чести.

– О каких это вы говорите друзьях, господин Рогландр?

– Этот холуй нарочно корчит дурачка, чтобы набить себе цену, – высокомерно цедит сквозь зубы юный Потоберж. Его папаша нажил миллион на военных поставках, и сынок презирает капиталы в становлении.

– Послушайте-ка, Булинье! – кричит от игорного стола господин де Шаллери. – Вас видели около трех часов тому назад, вы шли под ручку с вашими эльзасцами.

Булинье не сдается. Он весь так и тает от благорасположения:

– Как вам не позавидовать, господин де Шаллери, вам никогда в жизни не приходилось держать в руках хоть что-то отдаленно напоминающее договор или расписку.

– Проклятый Булинье, умеет разжечь клиента!

– Ничего не поделаешь, такова кухня коммерции, – скромно парирует торговец сукном.

Но от господина де Рогландра так легко не отделаешься. Раскинувшись в кресле, багрово-красный от жары, он поднял рюмку шартреза и смотрит на огонь сквозь играющую в отблесках пламени жидкость.

– Надеюсь, дорогой господин Булинье, что ваши друзья пребывают в добром здравии?

Только господина Булинье на эту удочку не подденешь. «Круглый катится, плоский скользит», – господину Булинье известна эта поговорка. Сам круглый снаружи и плоский изнутри, он и катится и скользит, только бы пробиться вперед.

– Хе! Мои друзья – все, кто продает, покупает и платит.

– И вы полагаете, что они заплатят?

– От этих людей можно всего ожидать.

– А какие они с виду? Послушайте-ка, де Шаллери, говорят, вы встретили эту банду.

– Настоящий цыганский табор, – кричит из-за стола господин де Шаллери.

Члены клуба дружно восклицают:

– Как так?

– Как так? А так...

Он неожиданно встает с места, и массивная его фигура заполняет весь проем двери.

– Представьте себе такую картину. Приезжают откуда-то люди, зубастые, носастые, в длинных черных сюртуках, заляпанных грязью. И во главе шествует по лужам наш жирный идиот Габар под шелковым зонтиком. И вода с зонтика стекает ему прямо на брюхо. Он ведет эту процессию, а у самого вид такой жалкий, точно у дрессировщика, который направляется в цирк со своими учеными псами и уже заранее предвидит, что выручка будет ничтожная. А за ним следует вся шайка, скрючившись от холода. Я стал на краю тротуара, чтобы насладиться зрелищем. Прямо за Габаром, под одним зонтиком, два субъекта – худой и толстый – шлепают по грязи: забрызгали друг друга с ног до головы. Но они и внимания на это не обращают. В руках у них саквояжи, какие-то мешки, они подталкивают их коленями, совсем как факельщики, вдруг вздумавшие играть в мяч. Чуть позади – два господина поважней; очевидно, папаша со своим братцем – старшие Вимлеры, цвет верхнерейнской промышленности, наши будущие коллеги, господа!

Словом, все лучшее, что со времен революции восемьдесят девятого года родилось в гетто города Франкфурга, подарочек правительства господина Тьера, немецкая вышивка на еврейской основе, двусторонняя ткань: с лица – ростовщичество, с изнанки – шантаж, с солидной каймой скарденности; ткань, не отрицаю, приятная для глаза, мягкая на ощупь, приманка для покупателя, – и только знаток безошибочно видит в этом товаре свидетельство того, что подлинной честной и добросовестной выделке пришел конец. Надеюсь, вы не посетуете на меня за то, что я решился представить вам этот примечательный клан, пожелавший утвердиться на прахе нашего незабвенного Понсэ.

Одобрительным шепотом была встречена речь де Шаллери, каждое слово которой подчеркивал своими жестами и ужимками господин Булинье. Оратор де Шаллери незаметно для себя приблизился к камину, от которого предупредительно поспешил отойти Лефомбер.

Даже когда господин де Шаллери стоит к собеседнику лицом, кажется, что он бросает фразу через плечо. Слова с трудом пробиваются сквозь густую щетку его усов, украшающих презрительно выпяченную верхнюю губу. Его манера говорить – аристократически небрежна, бессловесное превосходство монокля лишь подчеркивает ее. Он любит пройти насчет уродливых носов, и хотя его собственный далеко превосходит нормальные размеры, считается почему-то, что нос у господина де Шаллери орлиный.

– В сущности, я ничего не могу сказать об этих двух господах. Они закрылись зонтиком. Но наш друг Булинье, который семенил рядом с ними в качестве их интимного друга, может быть, сообщит нам более подробные сведения.

Господин Булинье, потирая руки, в невыразимом восторге восклицает:

– Ой, ой, ой! Вы говорите прямо как Сен-Симон. (Известно, что Сен-Симон – конек господина де Шаллери.) К чему так чернить каких-то несчастных четырех беженцев? Габар просто дурачок, и вполне возможно, что они его провели. Но ведь любой младенец может провести нашего Габара.

– Однако вы так и не объяснили, отчего вы семенили рядом с ними? – настаивает из угла чей-то голос.

– Вовсе я не семенил, просто у меня такая походка. Спорить, однако, не берусь. Всем известна меткость наблюдений господина де Шаллери. Но как же вы прикажете мне ходить, при моей-то комплекции, между двумя такими дылдами, которые к тому же не пожелали убавить свой шаг применительно к моему?

– Но вы же семенили в качестве их друга, Булинье, не отпирайтесь!

– Это уже неправда, господа. Тут наш ванदेврский Сен-Симон хватил через край. Я вношу нашему уважаемому секретарю Пьеротэну двадцать франков и прошу вручить их любому члену клуба, который докажет, что ему удалось завязать знакомство с кем-либо из старших Зимлеров. По сравнению с ними младшее поколение – просто щенки. А те двое – скала, господа, настоящая скала! Даже не улыбнутся. Не знаю, все ли они такие там у них, в Эльзасе, но если кто-нибудь сможет добиться от них вежливого слова, тогда Булинье – не Булинье.

– Значит, ваши подопечные вовсе не такие безобидные люди, как вы уверяли?

– Если бы они были такие, как вы думаете, могли бы они быть чьими-нибудь подопечными? Мы здесь, так сказать, мозг французской текстильной промышленности, и они понимают, что разыгрывать с нами драмы бесполезно. Собака, которая лает, не кусается.

– Но на всякую кусачую собаку найдется свой намордник. Нет, ваши друзья мне определенно не по душе, – замечает толстяк Юильри (ткацкая фабрика) тоном, который вряд ли кто-нибудь может назвать абсолютно спокойным.

Тут снова вмешивается господин де Рогландр; его сморщенное личико медно-кирпичного цвета пылает в отблесках пламени:

– Продолжайте, дорогой. Ваши описания очень забавны!

– А женщины? Расскажите нам лучше о женщинах, – требует юный Потоберж.

Де Шаллери, прежде чем приступить к рассказу, отпускает комплимент по адресу Булинье, который сумел польстить ему своим сравнением с Сен-Симоном:

– Бог с ней, с вашей походкой, дорогой друг. Во всяком случае, я предпочитаю вашу французскую поступь тяжелым шагам этой баварской пехоты.

– Но, дорогой де Шаллери, боюсь, что вы зашли слишком далеко. Между Эльзасом и Баварией немалое расстояние. Во всяком случае, между ними пролегает Рейн, не говоря уже о недавнем мирном договоре, который, я надеюсь, вас не особенно устраивает.

Человека, сделавшего это нравоучительное замечание, впрочем вполне спокойным и любезным тоном, не видно, – его укрывает высокая спинка кресла, обитая английской кожей. Однако торопливость, с какою де Шаллери счел нужным ответить, доказывает, что с говорившим приходится считаться.

– Ну, знаете ли, я вправе делать некоторое различие между французами из Эльзаса и поселенцами пограничной зоны. Для меня лично Франция всегда будет простирается до Рейна. Но в пределах этой пограничной зоны, установленной самой природой и национальной традицией, я, с вашего разрешения, сумею отличить моих соотечественников от тех, кто ни до войны, ни после нее ими не был.

– Надеюсь, вы не хотите этим сказать...

– Разрешите мне закончить, наша беседа стоит того. Полтора миллиона французов стали немцами. Но пусть они даже присягнули императору Вильгельму, пусть они платят налоги немцам – для меня они остаются истинными, настоящими французами. Более того, из всех жителей Эльзас-Лотарингии подлинные французы именно те, что остались там, дабы продолжать войну и после окончания войны.

– Прекрасно сказано, господин де Шаллери! – кричит кто-то из соседней комнаты; в тишине зала, воцарившейся после речи господина де Шаллери, слова эти звучат несколько странно. Оратор поправляет монокль и медленно продолжает:

– В числе тех, кто покинул свой боевой пост в арьергарде нашего отступления, которому завтра, милостивые государи, суждено стать авангардом, были и такие, кто имел для этого все основания. Что ж, их совесть может быть спокойна. Пусть приходят – у нас для них место найдется...

– Правильно! – кричит Юильри, мнения которого, впрочем, никто не спрашивает.

Какой-то третьестепенный член клуба вдруг просто-Душно брякает:

– Но ведь есть и другие места, кроме наших.

– Вот если бы вы видели, как видел я, – продолжает господин де Шаллери, – зрелище, какое представляет собой эта банда – ...как их... Зимлеров, что ли, – вы согласились бы со мной, что волна, хлынувшая к нам из аннексированных областей, что называется, со всячиной.

Из кресла, обитого английской кожей, снова раздается голос, ленивый, насмешливый, чуть-чуть наставительный:

– Я не хочу оспаривать сделанный вами обзор, дорогой де Шаллери. Очень может статься, что вы и правы. Этих Зимлеров я не видел. Однако мне хотелось бы, чтобы вы, прежде чем пускаться в ход ваши аналитические таланты, приобрели некоторый опыт для распознавания подлинных французов среди эльзасцев. Мне кажется, вы слишком поторопились. Если вы не желаете, чтобы вас заподозрили в боязни конкуренции со стороны этих беженцев, подождите, пока их будет побольше, и не оспаривайте у них права называться французами. Разве нас, французов, слишком много? Увы, это не так.

Конец его фразы был заглушен еле слышным ропотом голосов, неуверенно и не без горечи твердивших: «Правда, правда...»

– Что я слышу? – воскликнул де Шаллери. – Неужели это говорите вы, господин Лепленье, вы, чей родной сын едва не погиб, стараясь остановить панику в своем батальоне? Нам не количества недостает, а качества! А какое качество, какое французское качество представляют эти Зимлеры? Повторяю, мне очень жаль, господин Лепленье, что вы не присутствовали вместе со мной при их прибытии...

– Продолжайте ваш рассказ, господин де Шаллери; послушать такого пылкого оратора – истинное удовольствие, – раздался чей-то насмешливый возглас.

– Милостивый государь, – вскричал де Шаллери, не то польщенный, не то обиженный, – тут дело не в пылкости, а в здравом смысле и законном негодовании. В конце концов пусть живут! Я этого права ни за кем не отрицаю. Но только не в качестве наших коллег и полноправных членов нашего общества. Нет уж, увольте!

При этих словах господин де Шаллери хихикнул, словно отбрасывая этим сухим и тягучим смешком всю клику Зимлеров на сотню лье от своих моральных и физических критериев. Затем он продолжал не без игривости:

– Вообразите только госпожу де Рогландр, госпожу Помье, госпожу Морендэ, госпожу Пьеротэн, госпожу де Шаллери, принимающих у себя госпожу... как бишь ее... да, Зимлер, и отдающих ей визит в ее конуре. Нет, милый друг, вряд ли вы пошлете к Зимлерам мадемуазель Лепленье. Я погорячился, верно, но есть от чего. Кто видел, как видел я, эти бесформенные

тыюки в грязных старых шалях, свисающих на мокрые саржевые юбки, эти шлепанцы, эти липкие от грязи саквожи – словом, все эти признаки гнусной алчности, тот не усомнился бы, что для такого сорта людей Вандевр только временный привал в пути. Они просто ярмарочные торговцы, милостивые государи, и ничего больше. И очень жаль, заявляю во всеуслышанье, что они нашли способ завладеть фабрикой покойного Понсэ. Но наш долг ясен. Пусть живут сами по себе, и мы будем жить тоже сами по себе. Когда же они уберутся отсюда, – что, надо полагать, случится в самом непродолжительном времени, – мы перекрестимся и снова спокойно займемся нашими делами. А пока будем рассматривать их как инородное тело, проникшее в наш город, как пулю, засевшую в нашей ране.

Из презрения или лености господин Лепленье хранил молчание. По гостиним клуба прошел легкий шепот. Он начался у камина и достиг даже прихожей. Господин де Шаллери с удовольствием заметил, что слушатели его, расходясь, продолжают переговариваться вполголоса, – значит, не зря он произносил речь. Заключительная ее часть заронила зерно в душу каждого, но – увы! – не то, на какое рассчитывал оратор: полнейшее равнодушие в отношении Зимлеров. Зато все испытывали страх перед неизвестностью, перед неустройством, дождем и туманными осенними сумерками.

И господин де Шаллери замер от изумления, когда юный Потоберж, задрав на американский манер ноги чуть не выше головы, вдруг громогласно выразил мысль, тайно волновавшую всех:

– И подумать только, что Лорилье отправился на охоту в такую погоду!

Однако господин Булинье не согласился перевести разговор на другую тему.

– Я вижу, – потирая руки с какой-то излишней нервозностью, пробормотал он негромко, но таким пронзительным голосом, что все присутствующие обернулись в его сторону, – я вижу, что совершенно излишне передавать вам то, что мне поручили вам передать.

– Что это он еще задумал, наш слащавый иезуит? – буркнул весьма непочтительно юный Потоберж.

Рассматривая на узорном ковре отпечатки своих подметок, Булинье несколько томно продолжал:

– Эти наивные младенцы воображают, что в наш клуб так же легко войти, как в первый попавшийся трактир.

Слушатели сдвинулись плотней. А господин де Шаллери, наполовину протиснувшийся в дверь, ведущую в игорный зал, остановился, но не обернулся. Тогда господин Булинье схватился левой рукой за запястье правой, как будто намереваясь вести самого себя в участок, яростно потряс своей пленной рукой, пытаясь вырвать ее из тисков левой руки, исполняющей полицейские функции, вскинул голову и прокричал:

– Знаете, милый Пьеротэн, какое поручение возложили на меня эти Зимлеры? Им, видите ли, недостает второго поручителя, чтобы баллотироваться в члены клуба.

Взрывы смеха, презрительное фырканье заглушили его последние слова. Послышался тонкий голосок Пьеро-тэна:

– Но поскольку они не найдут второго...

– Вы ошибаетесь. Если это может иметь какое-нибудь значение, то я...

Господин Лепленье поднялся с места и спокойно подошел к столику, где стояла спичечница.

Сначала перед присутствующими возникло нечто напоминающее тыкву – огромный шишковатый череп, на мгновение вобравший в себя весь свет, излучаемый люстрой. Затем – обрамленное легкими пушистыми бакенбардами и венчиком белоснежных волос лицо благородной скульптуры, на котором главенствовал лоб, выпуклый и блестящий, как отлакированный. От носа до подбородка шла бело-розовая поверхность, пересеченная вялой линией рта.

Хотя члены клуба уже давно привыкли к манерам господина Лепленье, тем не менее, когда он встал с места и направился к столу под мерное колыхание длиннополого сюртука, бывшего его по коленям, они почувствовали себя не совсем в своей тарелке. Причиной тому был отнюдь не огромный рост господина Лепленье, – все, начиная от прочных ботинок и серых гетр до крахмального воротничка с черным адвокатским галстуком, каждая мелочь его туалета обличала в нем бывшего денди, смелого нарушителя недолговечных законов моды, свято верящего в непогрешимость своего вкуса.

– ...если, конечно, никто из вас, милостивые государи, не видит в этом ничего предосудительного.

Господин Лепленье во время разговора медленно поворачивал голову то влево, то вправо; потом он зажег спичку таким точным и вместе с тем таким изящным движением, что все присутствующие невольно взглянули на его широкую кисть, полуприкрытую рукавом сюртука.

Впрочем, этих скупых жестов оказалось вполне достаточно, чтобы обнаружить в господине Лепленье новые, и, пожалуй, не столь барственные черты. Из-под бровей сверкнули маленькие, слишком близко поставленные свиные глазки. Да и нос у него был сапожком, – типично клоунский нос, толстый, самый простонародный.

Теперь вам понятно, отчего его голос звучал столь иронически. Чтобы завершить портрет господина Лепленье, добавим, что на его испещренных прожилками щеках были две глубокие ямочки, что рот он держал полуоткрытым, – и это особенно подчеркивало странную форму его мясистой нижней губы, похожей на черпачок и выдававшей мягкий и насмешливый характер ее владельца. Одновременно оказалось, что вовсе не так уж господин Лепленье гордо и осанисто держит свой стан – это была скорее иллюзия, объясняющаяся нравственным авторитетом. При более детальном рассмотрении оказывалось, что и талия у него длинновата, да и живот торчит. Тут обнаруживался весь господин Лепленье, не столько величественный, сколько скептический. Впрочем, это-то и смущало его собеседников. Равно как и слегка гнусавый голос, звучавший так язвительно и резко, что он скрывал даже от самого Лепленье его снисходительный нрав.

Присутствующие остолбенели.

– Господин Лепленье! – воскликнул юный Потоберж, схватившись от изумления за собственные щиколотки.

Лепленье повысил голос, он звучал теперь до оскорбительности высокомерно и вместе с тем весьма убежденно:

– Да, милостивые государи, эти люди для меня не безразличны. Я не могу забыть, что они бедные эльзасские беженцы. Их внешний вид меня не касается; вопрос вероисповедания, как вам известно, для меня никакой роли не играет, и на нашей земле мы должны помогать друг другу.

Воцарилось молчание, и только когда господин Лепленье раскурил трубку, господина де Шаллери прорвало:

– Вы просто шутите, Лепленье! Да ведь они... Помните мое слово, вы еще раскаетесь!..

– Поживем – увидим. Надеюсь, господин Булинье не возражает, чтобы я был вторым поручителем?

Булинье не знал, что ответить. Спор зашел слишком далеко, и он чувствовал себя, как рыба, выброшенная на берег. Он пробормотал несколько невнятных слов и с удрученным видом подошел к своим коллегам.

Пьеротэн, непременный секретарь Коммерческого клуба, в подобных обстоятельствах привык действовать как часовой механизм. Равнодушный ко всему на свете, он начинал развивать лихорадочную деятельность, стоило только щелкнуть механизму, приводящему в движение колесики клубных правил и уставов:

– Ай, ай, ай, ай, ай! Правила требуют, как вы знаете, господа, в случае если имеются возражения и если поручители, как вы знаете, не являются членами правления клуба, как в данном случае, то правила требуют одобрения по меньшей мере, как вы знаете, четверти членов клуба. Устав клуба, как вы знаете, старается предусмотреть любые возможности! Конечно, господин Лепленье не должен обижаться.

– Хорошо. Исполняйте ваши секретарские обязанности. Нас здесь...

– Двадцать восемь! – крикнул с места Лефомбер.

– Итак, присутствует двадцать восемь человек, следовательно, примерно больше трети членов клуба.

– Только постоянные члены!

– Только постоянные. Будем действовать согласно предложенным здесь господином Пьеротэном правилам. Если результат окажется неблагоприятным, на том и покончим.

Через несколько минут господин Лепленье, спокойный и насмешливый, стоял против двадцати шести джентльменов, столпившихся у дверей игорного зала. А Гектор Булинье, наподобие понтонного моста, сорвавшегося со швартовов, растерянно шнырял по комнате, лавируя своей материальной оболочкой среди кресел и увязая совестью в бесконечных сомнениях.

Лепленье улыбнулся:

– Что ж, не смею настаивать!

Тут в каминных часах что-то зашипело, как масло на сковородке. Желудки присутствующих дружно отозвались на этот призыв. Раздалось семь размеренных ударов, торжественно завершивших насыщенный трудами день.

Но если слабого звона каминных часов вполне достаточно, дабы возвестить двадцати восьми выхоленным джентльменам об окончании трудового дня, то весь обширный мир, лежащий по ту сторону клубных окон, нуждается в более ощутимых напоминаниях. И по этой причине сквозь плотную преграду красных штофных занавесей в комнату проник вой гудков.

Гул ткацких машин смолк как по волшебству. Гасли огни, таяли во мгле очертания фабрик. Теперь одна лишь осень вплетала свои жалобы в приглушенный топот двадцати тысяч ног, которые устремлялись по улицам, пересеченным через равные промежутки жалким светом газовых фонарей. Их отражения дробились и умирали в блестящей поверхности луж. Шарканье промокших подошв растекалось по тротуарам и исчезало вдали. Тени сворачивали в переулки, и в стуке захлопывающейся двери слышалось: «Покойной ночи», «До свиданья». За ситцевыми занавесками прохожий мог видеть круглые столы, освещенные висячими лампами. Семья усаживалась обедать. Дымилась миска с супом. На клеенке подымала свое запотевшее горлышко черная винная бутылка. Тяжелые четырехфунтовые караваи, мирно улегшись на середине стола, обращали к прохожим свое взрезанное чрево. Повсюду тепло и мягкий свет. Улица, туман и ночь остаются на долю чужестранцев, которых забросили сюда случай и нужда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.